

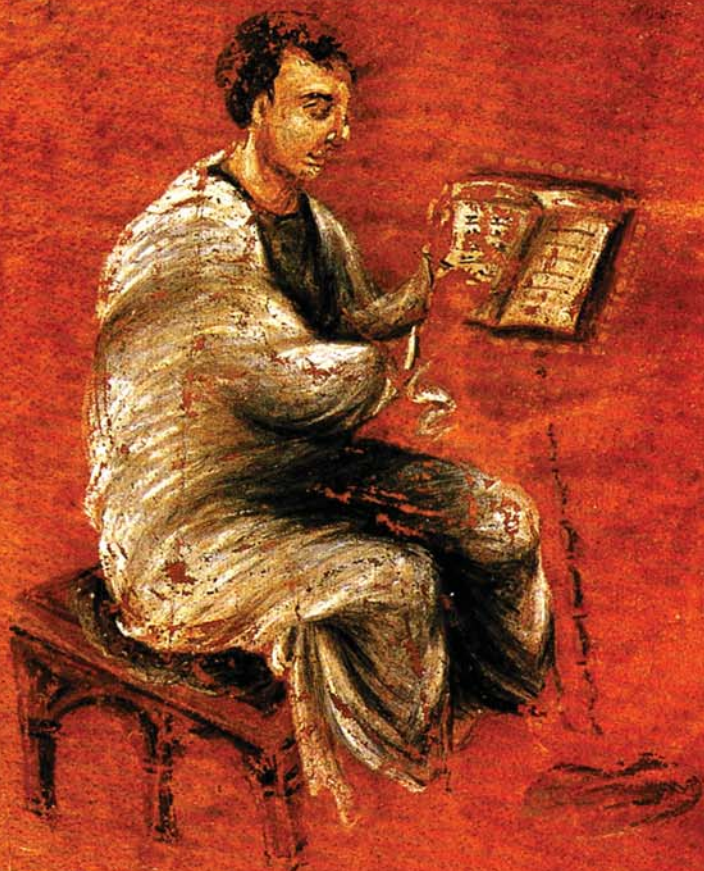
Х

Валерий Вотрин ЛОГОПЕД

Валерий Вотрин

С

Валерий Вотрин ЛОГОПЕД



Новое
Литературное
Обозрение

Валерий Вотрин
ЛОГОПЕД

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2012

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
В79

Вотрин, В.

В79 Логопед: Роман / Валерий Вотрин. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 248 с.

ISBN 978-5-4448-0028-7

Новый роман Валерия Вотрина — лингвистическая антиутопия. Действие романа разворачивается в государстве, управляемом законами орфоэпии. Умение следовать правилам пунктуации и орфографии определяет социальное положение граждан, а необходимость контролировать их соблюдение создает развитую систему надзорных и регулирующих органов. Два главных героя романа — логопед, встроенный в государственную систему надзора за языковыми нормами, и журналист, высланный за несообразные с языковой политикой суждения. Одному суждено разрушить государственную систему изнутри. Другой станет последней надеждой на сохранение языка страны и, как следствие, ее государственности.

В. Вотрин — финалист премии Андрея Белого, автор книг «Жалитвослов» (М., «Наука», 2007, серия «Русский Гулливер»), «Последний магог» (М., «НЛО», 2009).

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

© В. Вотрин, 2012

© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2012

Глава пелвая

Она не из логопедической семьи — из простых. Родители ее были мелкими чиновниками, а деды крестьянствовали. Некоторые их словечки до сих пор нет-нет да мелькнут в ее речи. Она говорит — забельшить, толока, пашпорт. Но в целом говорит она правильно и ратует за правильную речь. Мужа она называет за глаза уважительно — Сам. И пищу готовит простую, сытную. Вот и сегодня Анна Тимофеевна наготовила оладий — с медом, как любит Юрий Петрович. Она знает, что ему предстоит председательствовать, что он волнуется, что еще третьего дня, затребовавши груду дел, он допоздна просидел на работе — просматривал всю эту груду и изучал. Знает, что Юрий Петрович со своей работой позабыл все на свете.

Юрий Петрович Рожнов, однако, не волновался. Все-таки без малого тридцать лет в логопедических органах, да все на руководящих должностях. За эти годы навидался он всякого. Приходилось и председательствовать, и участвовать, и слушать, и постановлять. Но забота жены его согревала. От ее пышных, исходящих паром оладий в нем проходил разлад, наступал мир в душе.

Государственная комиссия заседала каждый четверг. Четверо членов комиссии собирались в здании центральной логопедической коллегии и выбирали председателя. Процедура эта была рутинная, и председателем обычно становился тот член комиссии, которому председательствовать надлежало в порядке очереди. В этот четверг дошла очередь и до Рожнова.

Членом комиссии он был выдвинут чуть больше года назад после того, как его предшественник выбыл по состоянию здоровья. А пришел сюда Рожнов с поста главного логопеда столицы, который он занимал семь лет.

С назначением жизнь Рожнова изменилась. Пошли сплошные заседания, селекторные совещания, созывы. Здесь у него тоже был кабинет, побольше прежнего, но в кабинете этом постоянно толпились люди. Кандидаты, кандидаты, кандидаты — от них отбою не было. Что же, он их принимал. Рожнов знал — про него болтают, что он всех пропускает. Нет, он и не думает пропускать всех подряд. У него имеются свои правила. Опыт кое-какой имеется. Он свое дело знает.

С любовью смотрит Анна Тимофеевна, как Сам кушает оладьи. Пусть подкрепитя. На улице-то вон как холодно. Декабрь на дворе, слепые белые морозы стоят над страной. А тут, в чистой кухоньке, Юрий Петрович не торопясь обмакивает оладьи в миску с медом и отправляет их в рот. Временами мычит, закрыв глаза, от вкусноты. Впереди трудное заседание, но оно подождет. Юрий Петрович Рожнов не нервничает. На него любовно смотрит жена, смотрит желтый попугай Ломуальд, специально прилетевший на кухню, чтобы покивать каждому отправленному в рот куску. Юрий Петрович доедает, поднимается, обнимает жену.

— Порррядок! Порррядок! — радостно вопит Ломуальд.

Рожнов недовольно морщится, грозит ему пальцем, надевает шубу и, весь в клубах вкусного пара, выходит из дома.

Он ходит на работу пешком. Идти недалеко. Рожнов живет в самом центре, в переулке, составленном из красивых старинных домиков, которые каждый год на праздники освежают какой-нибудь краской. Так, поочередно, становился переулок то веселым и желтеньким, то приветливым и голубеньким, то нарядным и светло-оранжевым. Последний раз освежали дома осенью. Ярко желтеют их стены. А каково будет, когда снегу навалит? Желтые стены на фоне белого пушистого снега красивы. Но бесснежный декабрь выдался, и снег не идет, и неистовые морозы не отпускают.

Рожнов идет осторожно, пробирается мимо желтых стен, проходит под аркой и выходит на большую улицу. Улица лежит перед ним — широкая, всегда полная автомобилей, которые сейчас едва ползут из-за гололедицы. И Юрий Петрович тоже идет медленно — не дай бог поскользнешься. Так можно и шею свернуть.

Вся улица уставлена серыми правительственными зданиями. Магазинов, ярких витрин здесь не встретишь. Это — правительственная улица. Есть и другие правительственные улицы, но эта — главная. Недалеко и площадь со зданием Высокой Управы, или в просторечии Плавы, — далеко виден его золотой купол. Прочие же министерства и ведомства давным-давно перевели сюда, на эту улицу — подряд идут серые одинаковые фасады различных ведомств.

В холодном воздухе стоит запах пыли. Поддувает ледяной ветерок. Под его порывами выбрался откуда-то на дорогу пустой целлофановый мешок и сейчас разлегся, точно пропойца, прямо посреди тротуара. Юрий Петрович идет и думает с негодованием: «Неполядок. Где дволники? Ублать мешок! Лазвелось мусола, хоть сам бели метлу в луки и убилай. И это на плавительственной улице! В стальные влеме́на небось такое бы не позволили. Влаз нашли бы, чей мешок, и пливлекли к ответу. Сейчас не то. Полядка не стало. А погода-то! Ишь как плимелзло. А снега нет как нет.

Это какой улон сельскому хозяйству, уложая будущему! Нет, ланьше все было не так. Помягче климат был».

Размышляя так, Юрий Петрович мелкими шажками двигается по правительственной улице. То и дело встречаются ему знакомые, все больше чиновники из разных ведомств, здороваются:

— Добрый день, Юрий Петрович!

И он им отвечает:

— Здравствуйте, Родион Александрович! Утро доброе, Сергей Романович!

А про себя думает: «Чего это Лодион так лано? Видать, по слочному делу в министелство вызвали. Ну да, министелство-то тлансполта, а дологи вон как сковало. Авалий небось за ночь!..»

Насчет языка мнение у Рожнова сложилось особое. Он любил думать, что поэтому и с Языком у него сложились близкие отношения. Он был уверен, что Язык любит его и даже покровительствует в чем-то. Язык часто снился ему. Во сне буквы алфавита окружали его со всех сторон, прыгали вокруг и ластились к нему, как котята. Он трепал их по спинке, а они мурчали. Особенно он любил букву «р». Во сне он часто наливал ей в блюдце молока. При этом он чувствовал, как из окружающей темноты на него глядит кто-то, и знал, что это смотрит на него Язык. Взгляд был ласковым, Рожнов это чувствовал. Ему хотелось оглянуться, и он оглядывался — но тут же от волнения просыпался. Да-да, Язык знает о его заслугах, о расследованиях в отношении наглых речеисправителей, о том, что это Рожнов мостит Ему дорогу, выпускает Его на свободу. Юрий Петрович был уверен, что гнев Языка не тронет его.

А суждения Юрия Петровича были таковы, что язык должен развиваться бесконтрольно. Раз народ так говорит — так оно, значит, и должно быть. При этом Юрий Петрович отлично понимал, какой опасностью на его должности грозит ему такое мнение. Ведь таким образом он нарушает присягу логопеда, а это уже преступление.

Не для того логопедия требует чистоты языка у партийных назначенцев. Но вот Рожнов считал, что язык чист от рождения и грязь прилипнуть к нему никак не может. А что до чистоты языка назначенцев, то это уже вопросы личной гигиены. Ибо, считал Юрий Петрович, только недостаточный уход за полостью рта может осквернить язык, а произносимые слова ничто осквернить не может.

В таком суждении он был не одинок. Множество других логопедов, больших и малых, негласно придерживалось тех же взглядов. Эти либеральные взгляды на язык в среде логопедов в последнее время были очень сильны. Либералы считали, что кандидаты не виноваты в том, что их речь не соответствует утвержденным орфоэпическим и орфографическим нормативам. Их так научила говорить среда, народный язык сам перекинулся на них и возрос. Они говорят: «Просу просения». Они говорят: «Пвощу пвощения». Говорят, наконец: «Плошу площения», — так что же, нужно их за это гнать? Язык являет себя через малых сих, произрастает на них, обнаруживает свой произвол. Они глаголют его словами, они им одержимы. Над своими словами они не вольны.

Разумеется, Юрий Петрович не выходил за рамки. Он, например, считал неправильным говорить «отвазывается», на чем настаивали многие. Произносить «настоясие» тоже было, на его взгляд, неправильно. В этом он следовал параграфу 3178 «Правил произношения согласных звуков», утвержденных соответствующим постановлением Высокой Управы. Тут его логика была проста: по итогам проведенных исследований и опросов очень малый процент граждан шепелявил — произносил «ж» как «з» и «ш» как «с». Среди кандидатов таких граждан тоже было мало. Получалось, что норма устанавливается большинством. А большинство произносит «р» как «л», тогда как в соответствии с параграфом 211 вышеуказанных Правил, утвержденных соответствующим постановлением Высокой Управы, предписывается произносить «р» как «р», и никак иначе. Такие вопиющие

факты отставания нормативно-правовых актов от жизни очень печалили Юрия Петровича.

Андрей, сын, постоянно схлестывался с отцом на эту тему. Несмотря на молодость, Андрея не коснулась либеральная мода идти в народ, чтобы познавать язык во всем его многообразии. Тут было, конечно, влияние матери: Анна Тимофеевна мягко, но упорно противилась желанию Юрия Петровича разговаривать дома на народном языке и привила сыну любовь к старым книгам. Сейчас Андрею было тридцать, он был ведущим логопедом одной из столичных коллегий и с отцом почти не общался. Все в деятельности Юрия Петровича раздражало Андрея: непримиримая борьба того с речеисправителями, любовь к народному языку, хорошие отношения с партийным руководством. Все это, по мнению Андрея Рожнова, было несовместимо со званием логопеда, и он открыто удивлялся, как отцу удастся удерживаться на своей высокой должности.

Юрий Петрович до объяснений не снисходил. В молодости все склонны видеть вещи в черном и белом свете, считал он. Пусть поживет, поработает, обтешется. А пока молодой еще. По себе он знал, какие перевероты случаются в тех, кто считает себя уже взрослыми и сложившимися людьми. Пускай осмотрится, а там и оттенки начнет различать.

Дойдя до водоохранного ведомства, Рожнов поворачивает в незаметный проулочек и оказывается перед зданием центральной логопедической коллегии. Никто не знает, сколько этому зданию лет. Оно стояло здесь всегда. Сначала в нем помещалась прокуратура, потом комитет по рыболовству, потом геологический институт. А что было в нем до прокуратуры — никто не знает. Два окаменелых древесных ствола до сих пор украшают его вход, а сбоку виден барельеф — смурной рыбак с сетью. Почти полвека назад здание отдали коллегии логопедов. Зимой невероятных размеров остроконечные сосульки вырастают на ко-

зырьке над входом, и в периоды оттепели страшно туда заходить. Весной с козырька сплошным ливнем падает капель. Здание не ветшает, только глубже вырастает в землю.

Как оказалось, Рожнов явился на заседание первым. Он аккуратно снимает пальто и оказывается в парадном мундире логопеда II ранга. Мундир темно-синий, с бархатным воротником и тонким золотым шитьем по бортам. Сидит мундир на Рожнове превосходно. Рожнов втайне гордится им. Мундир этот не на каждый день, а только по особым поводам. Сегодня утром Рожнов и так охорашивался перед зеркалом, и эдак. Дорого обошелся ему этот мундир. Пришлось всякого повидать за тридцать-то лет — и председательствовать, и участвовать, и слушать, и постановлять. Тридцать лет на руководящих постах — не шутка.

Рожнов занимает свое место во главе длинного стола, аккуратно раскладывает бумаги. Почти тотчас же появляется Страхов, здоровается, проходит к своему месту, садится и углубляется в газету. Страхов — постоянный оппонент Рожнова, его вечный соперник. Они спорят по малейшему поводу, потому что в вопросах языка и произношения имеют мнения самые противоположные. Александр Николаевич Страхов в комиссии уже четырнадцать лет и был избран, когда ему еще не исполнилось тридцати. Поговаривают, что протолкнул его отец, влиятельная фигура в логопедических кругах, советник Управы. Страхов — консерватор и считает, что неправильный язык следует исправлять, активно регулировать не только произношение, но и словоупотребление. Считает Страхов, что параграф 211 «Правил произношения согласных звуков» не следует отменять ни при каких условиях. Страхов — убежденный сторонник государственного языкового контроля, автор множества поправок к действующим нормам. С Рожновым они общаются только на заседаниях.

Вскоре появляются и рассаживаются по своим местам еще два члена комиссии — Молостнов и Шмитт. Это старые люди. Самый древний — Рудольф Иванович Шмитт,

логопед с семидесятилетним стажем, принимавший участие в выработке знаменитого Акта о произношении согласных звуков. Шмитт горбат, кашляет. Он глуховат. Взгляды его за семьдесят лет работы в государственных логопедических комиссиях столько раз менялись под воздействием исторических обстоятельств, что к настоящему времени стали неопределенны и обычно совпадают со взглядами действующего председателя комиссии. Таков он, Рудольф Иванович Шмитт, логопед-легенда.

Иван Федорович Молостных младше — ему за семьдесят. Много лет он возглавлял особый логопедический департамент при Министерстве образования. Иван Федорович — последний в славном роду логопедов Молостныхых. Сын его стал военным и погиб пятнадцать лет назад при штурме дома, в котором укрылась секта болтунов. Эта драма не согнула Ивана Федоровича. Он считается одним из самых жестких сторонников государственного вмешательства в орфоэпическую сферу.

В дальнем углу сидит секретарь-протоколист по фамилии Межевая. Она служит в коллегии уже много лет. Никто не знает ее имени-отчества.

Заседание начинается принятием присяги председателем комиссии. Рожнов зачитывает присягу стоя: «Я, Юрий Рожнов, на посту председателя логопедической комиссии обязуюсь соблюдать чистоту языка и образцово следить за священными нормами...»

Потом переходят к разбору кандидатов. Межевая громко вызывает первого:

— Крючков, Сергей Алексеевич!

Дверь открывается, и в комнату попадает Сергей Алексеевич Крючков. Кандидату двадцать шесть лет. Он из села Аппаратово Волоконовского района. По профессии механизатор. Семь лет проработал в разных колхозах района механизатором, водителем, дрессировщиком коров. Вступил в Партию, был выдвинут на должность второго оберсекретаря райкома. Районную логопедическую комиссию

не прошел, получил направление на обязательные годовые речеисправительные курсы. Курсы не окончил, будучи повторно призван Партией ввиду неотложной нужды в кадрах. После повторного экзамена кандидат направлен районной комиссией на рассмотрение главной логопедической комиссии.

— Проходите, проходите, кандидат. Закройте за собой дверь. Присаживайтесь. Межевая, что там у нас?

— Представлен на должность второго обер-секретаря Волоконовского райкома.

— Так. Очень хорошо. А курсы он закончил? Кандидат, вы закончили курсы?

— Не закончил я.

— Не закончили? Почему не закончили?

— В лайкоме сказали, что в кадрах нехватка.

— Ну и что?

— Меня плизвали. Говолят, что званых много, а плизванных мало.

— Правда? Мы тут этого не замечаем. Нам вот кажется, что призванных что-то чересчур. Да, товарищи?

— Призванных и вправду достаточно, Юрий Петрович.

— Вот именно, Иван Федорович. Итак, кандидат, расскажите, чему вас там на курсах учили.

— Палтия вылажает нужды всех классов в сколейшем наступлении всеобщего благоденствия, что достигается...

— Кандидат, вы здесь не для того, чтобы читать комиссии просветительские лекции по партийной истории. Вас направили сюда для прохождения государственного орфоэпического экзамена. Скажите «рыба».

— Рлыба.

— Скажите «рак».

— Рлак.

— Скажите «шибболет».

— Гм. Рудольф Иванович, не сейчас. Кандидат, принесите «агропром».

— Агрлопрлом.

- Ну что ж. Теперь скажите «порядок».
- Порядок.
- Гм. Ну что ж...
- Не кажется ли вам, товарищ Рожнов, что произношение многоуважаемого кандидата весьма далеко от нормы?
- Благодарю вас, Александр Николаевич, за ценное замечание. Как видите, мы именно сейчас это и проверяем. Кандидат, произнесите «р».
- Рлрлрлрлрлрлр...
- Ишь, какие рулады выводит!
- Действительно, Рудольф Иванович, рулады.
- Я не вывожу лру... лу... рлу..
- Кандидат, вы выводите именно рулады. Межевая, на какую должность представлен кандидат?
- Второго обер-секретаря.
- Ну, эти-то как раз рулады и выводят.
- Хе-хе!
- Вот именно, Рудольф Иванович. Кандидат, скажите «порядок». Да хорошенько произнесите. Ну-ка!
- Порл... полр... полядок.
- Хорошо.
- Холошо? А вот товалищ говолит...
- Говорю, конечно. Юрий Петрович, мне кажется, пора сделать выводы. Не хотите же вы сказать...
- Да, Александр Николаевич, я считаю, что это хорошо. Кандидат старается. Он уже выводит рулады. Это плохо. Я бы даже сказал, хорошо. Что скажете, кандидат?
- Н-не знаю. Ведь товалищ говолит...
- Так, я вас понял. Как, вы сказали, ваша фамилия?
- Ключков.
- Так вот, товарищ Ключков, комиссия лучше знает, как оценивать ваши способности. Комиссия...
- Я не Ключков, я Ключков.
- Я и говорю — Ключков. Не перебивайте. Итак, комиссия...
- Вы плоизносите неплавильно. Моя фамилия Ключков!

— Но вы-то произносите Ключков!

— А в паспорте написано «Ключков!». Это я плоизношу неплавильно. А написано плавильно.

— Товарищ Ключков, пора бы вам понять, что правильно или неправильно — вещь относительная. Правильным слово делаете вы, ваше произношение. Откуда вы знаете, что в паспорте написано правильно?

— Потому что я Ключков! И отец был Ключков! И дед тоже был Ключков!

— Видите, у вас все в роду Ключковы.

— Юрий Петрович, мне думается, что сейчас не место для генеалогических исследований и ваших утверждений, что правильным слово делает чье-то произношение. Так далеко можно зайти. Вы же видите, товарищ не справляется. А ведь его выдвинули на ответственную должность, где нужно постоянно выступать. А товарищ свою фамилию правильно выговорить не может. Сколько лет вы в Партии, кандидат?

— Четыле года.

— Вот именно, Александр Николаевич, четыре года.

— Четыре года он не может исправить свою речь, Юрий Петрович.

— Напротив, Александр Николаевич, — кандидат в Партии уже четыре года потому, что Партия в нем нуждается.

— Потому что на безрыбье и рак рыба. Или, как сказал бы наш кандидат, «рлыба».

— Все шутите, Александр Николаевич. Нет, у кандидата четырехлетний партийный стаж потому, что он способный управленец. Потому что у него талант. Потому что он показал себя.

— Это он трактором управлять способный?

— Я и шофелом лаботал на глузовике!

— Помолчите, кандидат. Посмотрите на него, Александр Николаевич. Простой парень. Уж его-то отец не имел возможности протолкнуть его на теплое местечко.

Талантливый парень был обречен всю жизнь вкалывать на комбайне. Партия! Вот кто разглядел его в толпе комбайнеров. Чем-то он отличался от них. Чем-то выделялся. И Партия разглядела его. Он был призван.

— Недавно, помнится, вы упирали на то, что пастух Циндяйкин талантливый организатор.

— А вы станете со мной спорить? Хороший пастух не может не быть талантливым организатором, а Циндяйкин мог прикрикнуть на гусей так, что они мгновенно становились в шеренгу, рассчитывались на «первый-второй» и по команде «Шагом арш!» начинали шагать в ногу.

— При этом он совсем не выговаривал «л». Он говорил «свужба»! Он говорил «возунг»! Он говорил «пвенум»!

— Плошу слова!

— Подождите, товарищ Ключков, не вмешивайтесь.

— Я не Ключков, я — Ключков!

— В самом деле? Подумайте хорошенько. Может, у вас в паспорте ошибка? Может, вам стоит сменить фамилию?

— Я не хочу менять фамилию!

— Юрий Петрович, он не хочет менять фамилию.

— Гм. Вижу, комиссия зашла по некоторым вопросам в тупик. Межевая!

— Кандидат! Комиссия при рассмотрении вашего дела зашла по некоторым вопросам в тупик.

— Спасибо, товарищ Межевая. Кандидат, вы все поняли? Мы тут сомневаемся с товарищами. У вас есть одна минута на подготовку и еще одна минута — на речь. Постарайтесь нас убедить. Постарайтесь увлечь. Постарайтесь уверить нас в том, что вас призвали не зря. Что вас действительно разглядели. Есть вопросы?

— Воплосов нет.

— Хорошо. Подготовились? Итак.

— Люди! Любите ваш язык. Он — ваш надежный оплот, ваша защита. В его стенах вы в безопасности. Только в нем ваше будущее, только с ним вы дойдете до цели. Язык и цель едины. Неустанно следите за его чистотой, со-

блюдайте языковые законы. Ибо чистота языка есть чистота ваших помыслов, ваших идеалов. Воздавайте ему почести, ведь он того достоин. Он — язык ваш, им вы живы. Если бы не он, вы не сумели бы облечь свои мысли в слова, не сумели бы дойти до цели. Язык доведет вас. Без него вы — ничто.

— Bravo!

— Не надо, Рудольф Иванович. Кандидат, вы закончили?

— Закончил.

— Прекрасно. Выйдите пока, мы посовещаемся и примем решение. Итак, ваше мнение, товарищи?

— Мне кажется, это было подготовлено.

— Не знаю, не знаю. На мой взгляд, совсем недурно.

— И я так думаю. Он ни разу не употребил ни одного слова с «р». Это еще суметь надо. У него по глазам было видно, что он заранее не готовился.

— Так каково будет ваше мнение, Иван Федорович?

— Я скорее за.

— Ваше, Рудольф Иванович?

— Мне он понравился. Экие рулады выводит.

— Что скажете вы, Александр Николаевич?

— Я повторял и еще раз повторю — параграфа 211 никто не отменял. Кандидат не справился с возложенным на него поручением — обучиться на речеисправительных курсах. Почему и по какой причине он с этим не справился — сейчас вопрос десятый. Кандидат подвел Партию. Я буду голосовать против этой кандидатуры.

— Очень хорошо. Голосуем. Спасибо, товарищи. Межевая!

— Трое за, один против.

— Спасибо, Межевая. Объявите кандидату о принятом решении в письменном виде. Кто там следующий?

Комиссия заседает до пяти часов вечера, с перерывом на обед. Всего за день рассмотрено восемь кандидатов. Почти все они в разное время были сняты Партией с ре-

чеисправительных курсов и направлены на главную комиссию в связи с острой нехваткой кадров. Шесть человек в результате подпадают под требования пресловутого параграфа 211. Рожнов доволен — всех шестерых с его подачи пропускают. Хватит буквализма. Хватит применения устаревших норм. Хватит направлений на речеисправительные курсы. С руководством этих курсов еще надо разобраться, в чем Рожнов весьма поднаторел. Шесть прекрасных, перспективных кандидатов брошены в ряды Партии. Двое не прошли, но они шепелявили. Это «неполядок». Их не пропустили и отправили доучиваться на речеисправительные курсы со строжайшим предписанием успешно окончить курсы в течение полугода. Ничего не поделаешь — тут даже Рожнов был бессилён. Один кандидат плакал, когда выходил. На курсах ему обещали вырезать язык, если он не перестанет шепелявить. Ему было плохо на курсах, хотелось домой. Его фамилия была Шельпишев. Он произносил ее «Сельписев». Над ним смеялись. Он боялся, что Партия не выдвинет его в следующий раз. Он произносил «следуюсий раз». Он был шепеляв. Ему было «страсно».

Во время заседания Рожнов с большим удовольствием наблюдал за Страховым. Было видно, как тот возмущен, как огорчен своим бессилием. Так-то, господин хороший! У нас свои правила. Рожнов предчувствовал жаркую баталию, когда подойдет очередь Страхова председательствовать. Так всегда бывало, ведь Страхов считал, что стоит на страже чистоты языка. Но сейчас не его очередь радоваться. Сейчас радовался Рожнов. Да чего там — он торжествовал.

Когда рабочий день окончился, комиссия в полном составе проследовала в трактир Диколаева. Вся, кроме Страхова. Он видимо злился. Впрочем, попрощался он с Рожновым с обычной вежливостью. Несносный человек. Упрямец. В трактир со всеми он ходил, только когда ему удавалось настоять на своем и завернуть не нравившихся

ему кандидатов. В этот раз в трактир со всеми он не пошел, а сразу в угрюмом настроении поехал домой, решив сегодня же направить жалобу в вышестоящие инстанции на председателя главной логопедической комиссии. Он уже сам не помнил, какая по счету это жалоба. Но все же он поехал домой, чтобы ее написать и отправить куда следует. Он чувствовал, что так ему будет спокойнее.

Трактир Диколаева был единственным местом на правительственной улице, где можно было поесть. Но поесть здесь можно было только работникам государственных учреждений. Кроме них, сюда по негласной договоренности пускали также и многочисленных кандидатов на государственные должности — как удачливых, так и неудачников. Для этих была отведена особая комната, где неудачники моментально и вдрызг напивались. Их горькие песни и жалобы на судьбину постоянно звучали в огромном помещении трактира, разделенном на несколько больших комнат. Временами допившиеся до умопомрачения неудачливые кандидаты врываются в комнаты, где пировали государственные чиновники, и устраивали там свалку. Случались и трагические происшествия. Так, один кандидат, вышед из трактира, пустил себе пулю в сердце. Пьяная кандидатова рука тряслась, и пуля угодила в металлическую пуговицу. Отразившись от пуговицы, эта шальная пуля залетела в окно соседнего ведомства и попала в голову многострадальному чиновнику, который уже тридцать восемь лет трудился на этом месте без повышения и семнадцать раз подавал рапорт об увольнении, однако так и не был уволен потому, что на его место не находилось желающих, — больно низка и грязна была должность. В качестве наказания убийцу посадили на место убитого. Говорят, за четыре года работы бедняга уже восемь раз подал рапорт об увольнении, но ему все отказывают. В обеденное время он подходит к окну и с тоской смотрит на двери трактира, надеясь, что кто-нибудь в шинели с металлическими пуговицами сейчас выйдет,

вытащит пистолет, направит его себе в сердце... Однако в трактир людей с оружием больше не пускают.

Сам Диколаев когда-то тоже был кандидат. Он работал механиком на нефтебазе, работал спокойно и без треволнений, но тут Партия выискала его среди прочих механиков и призвала. Диколаев уперся. Ему нравилась его работа. Партия настаивала. Предложила ему хорошее место советника на заводе. Диколаев отнесся к этому спокойно. Тогда Партия пересмотрела свое первоначальное намерение. Она предложила Диколаеву должность директора нефтебазы, на которой он работал. Диколаев долго думал. Мучительно советовался с женой. Пил. Партия настаивала. Диколаеву приходили официальные письма на бланках. Являлись делегации закованных в костюмы мужчин, которые проходили в крохотную гостиную и там молча просиживали часами, сверля Диколаева укоризненными взглядами. Наконец Диколаев сдался. Тут оказалось, что он не член Партии, и его тотчас же в Партию приняли. Быстренько провели предварительные слушания и выяснили, что он не выговаривает. Он был отправлен на речеисправительные курсы, и там началось самое ужасное. Среди ночи Диколаева поднимали и заставляли повторять: «На носу гнездо, в гнезде птенец, у птенца ножки. Сонный гонщик стонет во сне, гоня вагон. Африканского гну носит по саванне».

— Африкадского гду досит по савадде, — упорно твердил Диколаев.

Его трясли за плечи и кричали в лицо:

— Гну, Николаев! Гну! Повтори!

— Гду, — говорил Диколаев.

— Сволочь, — говорили ему, сдаваясь, и уходили, а он валился обратно на постель и засыпал глухим сном испуганного человека.

Через три месяца его выпустили. Он был уже не тот. Навыки механика он растерял под свирепыми затрещинами, а слова продолжал выговаривать так же, словно и не

проходил никаких курсов. Видя его неуспехи, его уволили. Куда идти? Он решил открыть трактир. Помогли другие кандидаты, с которыми он учился на курсах и которые стали большими людьми. Он открыл свой трактир на правительственной улице и стал лупить с заходящих чиновников трехкратную цену. Ему это прощали — в трактире готовили вкусно и закрывались поздно. Сторонних людей сюда не пускали. За всем присматривал сам Диколаев — большой, хмурый и нелюбезный. Многие считали, что его давно пора посадить за решетку, потому что он не соблюдает ценовой политики. Но все сходило Диколаеву с рук — у него были высокопоставленные заступники.

В трактире Рожнов и Молостнов тут же принялись спорить о параграфе 211 — так ли нужно его упразднить. Молостнов, как казалось Рожнову, втайне сочувствовал ему и разделял его взгляды. Но не давали покоя Молостнову въедливость и законопочитание. Из-за них он потерял сон. Иногда посреди ночи он вскакивал с постели и начинал рассказывать по комнате.

— Ваня! — шептала ему с постели жена. — Чего ты? Опять законы?

— Законы, Маша, законы, — сурово отвечал Молостнов, продолжая думать. Жена вздыхала. Она не понимала его. Из закона дом не построишь, шапку не сошьешь. Чего беспокоиться-то? А Молостнов все думал — о том, как бы лучше букву подправить, где бы слово передвинуть. Исполнение законов волновало его. Много лет он втайне составлял перечень пробелов к основным орфоэпическим законам, и за эти годы накопился у него многостраничный список поправок. Все потерянные запятые и двоеточия отыскал Молостнов, обнаружил массу опечаток, искажающих смысл соответствующих правовых актов, увидел просчеты, и огрехи, и ляпы. А тут еще этот параграф 211. Сколько снов из-за него не досмотрел Молостнов.

— Что ты, Ваня? — просыпалась жена.

— Да, видишь, параграф 211 этот, — отвечал Молостнов, сутулясь.

— Опять? — спрашивала жена.

— Опять.

— Ну, ты о 210-м подумай, — подсказывала жена, — или о 208-м. Авось, успокоишься.

— Да что 208-й, — отмахивался Молостнов. — С ним-то все в порядке. Спи, Маша.

И продолжал расхаживать по спальне до самого утра. О законе горела его душа.

В трактире Шмитт выпил рюмочку, тут же заснул, и пришлось его отправлять домой на такси. Потом Рожнов и Молостнов заспорили. Веселье в трактире Диколаева только разгоралось. Из соседнего отделения, где пили неудачливые кандидаты, неслась заунывная песня:

А я буковку, а я буковку

А все выговавиваю.

А та буковка, а та буковка

А да не выговавивается!..

Бодрые половые носились по трактиру с подносами.

— Не могу я позволить этого, Юра! — строго говорил Молостнов. — Чего-чего, а этого не могу. Все-таки 211-й параграф, не какой-нибудь 216-й.

Юрий Петрович кивал и почему-то улыбался. Он охмелел. Веселое бунташное настроение овладело им. Хотелось отменить все параграфы и остаться голым, гордым и незащищенным, как громоотвод. И Молостнова почему-то было жалко. До того, что хотелось подлить ему еще. И Рожнов подливал ему, не забывая и себя. Беззаботно опьянел Юрий Петрович.

Домой он возвращался через площадь. Было совсем темно. Неземная стужа воцарилась в городе с приходом ночи. Во мраке стояли темные дома. Только на площади горели костры для обогрева озябших караульных. «А холодно вот так-то на посту толчать, — безмятежно думал Рожнов, одетый в теплую шубу. — Особо не поглеешься».

Анна Тимофеевна заботливо встретила его, приняла шубу. Усталый какой, измучился, видать, за день. Юрий Петрович, сполоснув руки и лицо, подошел к клетке с Ломуальдом. Желтый попугай весело смотрел на него то одним то другим глазом.

— Ну-ка, скажи, — потребовал Рожнов, пошатываясь: — Скажи «полядок»!

— Порррядок! Порррядок! — с готовностью завопил попугай.

— У! — замахнулся на него Рожнов. — Колмлю тебя еще! Скажи «Ломуальд холоший»!

— Ррромуальд хоррроший, хоррроший! — заорала в ответ упрямая птица.

— Эх! — вздохнул Юрий Петрович и тут же, вспомнив о прошедшем дне, довольно улыбнулся. Так-то, господа-товарищи. А то все — параграф 211. Нет-нет, реформы нужны, реформы. Ну да пускай лучше Молостных на сон грядущий об этом думает.

И Юрий Петрович погрузился в теплую постель.

Глава вторая

Еженедельник «Правíло» был одним из самых популярных и влиятельных изданий в среде эмиграции. Общеизвестно было, что выпускает его один-единственный человек — Лев Павлович Заблукаев, публицист, фельетонист, поэт, драматург. От недели к неделе неумный Заблукаев в одиночку наполнял свою газету острыми статьями, колонками на животрепещущие темы, фельетонами, сатирическими стихами и пародиями, подписываясь как своей фамилией, так и разнообразными псевдонимами. Кто-то однажды подсчитал все псевдонимы Заблукаева за всю историю газеты — их оказалось более двухсот.

Тема у Заблукаева была одна — порча языка. На эту тему он писал с неисчерпаемой энергией. Порча языка за-

нимала Заблукаева с ранних лет. Происходил Лев Павлович из семьи учителей и в детстве мечтал стать учителем родного языка, как родители. Читать он научился так рано, что даже не помнил, когда именно и с чего началось для него чтение — ему казалось, что читал он с самого своего рождения. Дошло до того, что, когда он был в третьем классе, отец стал сажать его за проверку школьных сочинений — и это получалось у маленького Левы великолепно. Он был пристрастным, внимательным и строгим учителем, хотя отцовские ученики, разумеется, и не предполагали, что оценки им давно уже ставит учителей сынок. И никто из них даже и не подозревал, каким ужасом, каким праведным негодованием проникался Левушка, читая их опусы. Стоило глазу его наткнуться на что-то вроде «В своей повести “Барыфня-крестьянка” А.С. Пушкин показал...», как гнев и досада наполняли ученика третьего класса Льва Заблукаева. Ему казалось, что каждую минуту, каждый миг над языком совершается постыднейшее надругательство и что никто, кроме него, этого не замечает.

Его отец, Павел Львович Заблукаев, был добрый человек, совершенно запутавшийся в грамматических правилах. Что ни месяц, сверху, из министерства, спускался циркуляр с очередными поправками к грамматическим нормам, и через пятнадцать лет учительства старший Заблукаев уже не знал, как правильно написать — «жаворонок» или «заворонок». Не то чтобы писать «заворонок» предлагалось очередным циркуляром: вся беда была в том, что циркуляр не запрещал так писать, осторожно намекая на «варианты» написания. Видя такое, Павел Львович часто плакал в своем кабинете. Ему тоже казалось, что над родной речью совершается надругательство, но, в отличие от сына, он считал, что творится это непотребство исключительно с той целью, чтобы свести его, Павла Львовича, с ума, столкнуть в яму, лишить заработка, окончательно погубить. Иногда дома они с женой, учительствовавшей в соседней школе, схлестывались по поводу какого-нибудь

правила. Поводом почти всегда служила ошибка диктора или газетная статья, где несколько раз повторялось какое-нибудь слово вроде «пелеломный». Павел Львович приходил в ужас, на что Наталья Михайловна, его жена, спокойно замечала, что язык не стоит на месте, он развивается и прекрасно, что правительство это понимает.

— Но как же быть с нормами, Наташа? — вскрикивал Павел Львович и начинал бегать по комнате, потрясая газетой. — Это просто невыносимо!

— Успокойся, Паша, — говорила Наталья Михайловна. — В газете просто так не напишут. Значит, следует ждать очередного циркуляра.

Это слово приводило Павла Львовича в умоисступление.

— Опять! — вскидывался он. — Это невыносимо, невыносимо! Это невозможно терпеть!

А через несколько дней в школу и впрямь спускался очередной министерский циркуляр, в котором предлагалось учитывать все «варианты» написания слова «переломный», а именно «пелеломный», «перевомный», «пегеломный», а также иные, не запрещенные законодательством.

Отец и сын никогда не разговаривали на эту тему. Младший Заблукаев сначала пытался высказать свою точку зрения на события, передать отцу слышанные в школьных коридорах слова, в которых уже не оставалось ничего от классической родной речи, но Павел Львович не хотел о них знать. С ужасом он начал осознавать, что эти слова, которые когда-то резали бы ему слух, теперь казались ему правильными. Он понял, что больше не различает грани между чистым языком и языком, на котором говорит улица. Он потерял опору. А ведь именно ему надлежало прививать ученикам любовь к родной речи, к ее нормам. Но он уже не мог, был не в состоянии. Жена смотрела на него со спокойным презрением. Сама она давно привыкла к этим нескончаемым циркулярам и быстро осваивала новые нормы. В школе ее любили, считали сво-

ей. «Усителка нафа нифего тетка, понимаюся», — говорили про нее. И она втайне гордилась приобретенным уважением.

— Наталья Михайловна, мозно выйти покулить? — спрашивали ее здоровенные лбы-десятиклассники на уроке, и она, либеральничая, разрешала:

— Мозно.

Поэтому метания мужа были ей непонятны. Язык не стоит на месте, нормы плаваются, текут под нажимом обстоятельств, слова видоизменяются, рождаются новые формы. Идет неустанная эволюция. Наталье Михайловне приходилось отстаивать свои принципы. На ее уроках часто бывали инспекторы-логопеды, после чего Наталью Михайловну вызывали на логопедическую комиссию. Там она говорила о размывании норм, рождении нового языка. Конечно, комиссии выдавали ей различные предписания — повышать уровень преподавания родной речи, неуклонно выполнять требования законодательных норм, неустанно внедрять грамматические правила. Она чувствовала, что к ней придираются, но на руках у нее был главный козырь — на всех проверках и комиссиях Наталья Михайловна настаивала на том, что выполняет требования всех циркуляров, выпущенных министерством. Это всегда срабатывало. Против циркуляров логопедическая комиссия была бессильна. Наталья Михайловна не знала, какая беспощадная война идет между логопедами и Министерством образования. Но, даже знай она об этой войне, она немедленно приняла бы сторону Министерства образования. Наталья Михайловна была убежденным сторонником реформ.

Павел Львович сторон не выбирал. Он уже не понимал, где какие есть стороны. Ему казалось, что все стороны, какие ни есть, ополчились на него. Оставалась лишь его любимая работа. Да, работу свою он любил. Он любил выискивать ошибки в сочинениях, ставить оценки, любил вызывать к доске. Ему казалось, что он — свет, а его уче-

ники — тьма. Он любил рассеивать тьму в головах учеников своим светом. Павел Львович был убежден, что любое незнание — тьма, и даже ночь он был склонен считать не просто затемнением воздуха, а крошечным незнанием. Поэтому он любил солнце, луну, вообще небесные тела, проливающие либо отражающие свет. Но с недавнего времени тьма воцарилась в его голове. Он уже не чувствовал себя светильником в ночи. Он перестал понимать, что он несет своим ученикам. И они это знали. Ему даже казалось, что иногда они посмеиваются над ним. Кажется, они считали, что знают язык лучше его. Он ощущал себя зажатым в угол. По ночам ему снились циркуляры, которые окружали его, как охотничьи псы. Глаза циркуляров горели красным огнем.

Но однажды Павел Львович проснулся со странной светлой, легкой мыслью в голове. Эта мысль навсегда перевернула в его мозгу все вверх тормашками. Павел Львович придумал свою методику. Теперь он знал, как не ошибиться. Теперь один день он ставил всем двойки, всем ученикам без разбору. Другой день — только тройки. Третий день — пятерки. Четверок он не ставил, потому что не верил в их силу. Сочинения же он полностью отдал на откуп сыну. Теперь свои вечера ученик седьмого класса Заблукаев проводил за отцовским письменным столом, заваленным грудями школьных сочинений. Лева набрасывался на них и покрывал страницы замечаниями. Руки его были запятнаны красными чернилами, как кровью. Ученики Павла Львовича не могли понять, почему круглый неторопливый почерк учителя так изменился, превратившись в мелкую птичью побужку на полях и поперек сочинений. Мерзкой птицей было исклевано каждое слово, каждая буква сочинений. Это было так не похоже на Павла Львовича, что ученики единодушно пришли к выводу, что сочинения проверяет не он. К тому же оценки за сочинения были противоположны тем, что он ставил на уро-

ках. Бывало, что весь класс получал пятерку на уроке — и сплошные двойки за сочинения на ту же тему.

Ученики были уже близки к разгадке, когда однажды Павла Львовича нашли в учительской — он увлеченно срывал развешанные на стендах циркуляры и рвал их в клочки. Когда его спросили, что он делает, он ответил, что циркуляры больше не нужны. Когда его спросили, почему это циркуляры больше не нужны, он ответил, что циркуляры не нужны потому, что Язык сам исправился. Когда его спросили, что это все значит, он ответил, что Язык вырвался на волю, встряхнулся, сбросил с себя нормы и циркуляры, как вцепившихся в него ловчих псов, и скоро придет ко всем, чтобы ухватить каждого за бочок.

Тогда Павла Львовича тихонько взяли, повели во двор, а он все вырывался, кричал что-то, а его негромко улещивали, продолжая вести, а у ворот уже ждала машина, из которой вышли дюжие люди в белых халатах, им-то его и передали, а он все кричал что-то про волкодавов, про циркуляры, про Язык-хищник, когда его втолкнули в машину, а та тронулась, и ни его ученики, ни другие учителя, ни соседи, ни Наталья Михайловна слевой больше Павла Львовича не видели.

В тот вечер Наталья Михайловна попыталась рассказать сыну о том, что папа уехал в командировку и вернется не скоро. Однако Лева, который уже знал обо всем от одноклассников, не стал ее слушать. Ему было ясно, что отец пал жертвой борьбы за чистоту языка. Именно тогда ему открылось, что он, Лев Заблукаев, ввязался в кровавую и бесконечную рознь, в гражданскую войну, где враги не видны, а только слышны их слова, словно выстрелы, словно нескончаемые, уху противные канонады. Он понял, что словом ему и придется воевать, и придется воевать против всех. Это могло привести к самому трагическому финалу — тюрьме, сумасшествию, даже гибели. Он был на все готов. Годы проверки школьных сочинений сделали его самоотверженным и отважным бойцом. Он знал, на что идет.

Поначалу ему было тяжело без сочинений — он уже привык почти каждый вечер проводить за их проверкой. Он надеялся, что Наталья Михайловна тоже доверит ему проверку сочинений. Но в это время Наталью Михайловну неожиданно назначили директором школы, где она одиннадцать лет проработала учительницей родного языка, и он совсем перестал видеть ее дома. Приходя из школы, он делал уроки, готовил еду для себя и для матери и усаживался за чтение. Читал он много и все старые книги. Новые книги, пестрящие ошибками, он отметал. Чтение он воспринимал как наращивание мускулов, боевую подготовку, ибо чувствовал, как сила старых правильных слов вливается в него. Частенько он читал вслух, выговаривая каждое слово и наслаждаясь его звучанием. В школе так никто не говорил.

Учился он хорошо — не отлично, а хорошо. Учительница родной речи его недолюбливала, но ставить плохие оценки избегала — Лев Заблукаев, по ее мнению, был мальчик недалекий, но усидчивый. За свои сочинения Лева обычно получал тройки. Его это не расстраивало — зато сильно расстраивало Наталью Михайловну. Ее волновало, что у нее, специалиста по родной речи, такой сын.

— Лев! Отвечай, почему у тебя опять тройка!

— Не знаю.

— А кто знает?

— Мария Григорьевна.

— Ты что, не можешь нормально сочинение написать?

— Я пишу их нормально.

— А почему же ты тройки получаешь?

— Потому что она дура.

— Лев!

— Дура бестолковая.

— Лев, следи за языком!

— Мама, я только и делаю, что за ним слежу.

— Лев, скажи мне, когда это кончится? Когда ты перестанешь мотать мне нервы?

— Я их тебе не мотаю.

— Почему ты не слушаешь Марию Григорьевну? Она тебе добра желает.

— Потому, что она говорит «госудаство». Более того, она заставляет нас так писать.

— А как правильно?

— Вот видишь, мама.

— Что «вот видишь»? Что «вот видишь»?

— И ты туда же.

— Лев, когда-нибудь я сорвусь. Дрянной мальчишка!

— Мария Григорьевна сказала бы: «Двянной».

— Лев, ты обязан хорошо учиться. Ты обещал папе. Я не могу за тобой уследить, у меня просто нет времени. Но твое глупое упрямство, твое нежелание следовать за всеми меня очень огорчают. Язык не стоит на месте, понимаешь? Он изменяется. И мы изменяемся вместе с ним. Мы обязаны меняться. Это эволюция.

— Я не хочу говорить на таком языке. Он неправильный.

— Кто тебе это сказал?

— Просто знаю. Чувствую. Его портят.

— Кто? Что за глупые мысли!

— Все, вот кто. И ты тоже.

— Лев! Я одиннадцать лет...

— Ну да. И папа тоже. И Мария Григорьевна. Вы все одиннадцать лет, а кто и двадцать его портите. Язык портится, а никто ничего не видит.

— Лев! Прекрати сейчас же! Ты меня с ума сведешь!

— Значит, скоро встретишься с папой.

Эти разговоры всегда заканчивались крупными ссорами, и мать с сыном не разговаривали по несколько недель. Лев все яснее понимал, что его с матерью разделяет пропасть. И все больше задумывался о том, кем ему становиться.

Однажды вечером он зашел в комнату Натальи Михайловны. Та что-то писала за своим столом.

— Мама! — позвал он.

Она подняла нахмуренное лицо:

— Ты хочешь извиниться?

— Нет. Я хочу стать логопедом, мама.

— Что? Но ты из семьи служащих.

— Ну и что?

— Лев, ты понимаешь, что говоришь? Логопедами лождаются. Стать логопедом невозможно. И откуда у тебя взялась эта дулацкая мысль?

От волнения она сбилась на разговорный язык.

— Вот как, значит, ты разговариваешь со своими учениками.

— Да, так я с ними разговариваю! И наши учителя тоже. Мы стараемся...

— Я знаю. Вы стараетесь говорить с ними на одном языке. Ведь они его носители. От них зависит его развитие. Так?

— Лев! Как ты со мной разговариваешь?!

— Разговариваешь, мама. Так принято говорить. Видишь, почему я хочу стать логопедом? Потому что я хочу бороться с порчей языка, которое ты называешь его развитием.

— И как ты собираешься это сделать?

— Я буду поступать на журналистику.

— Но журналисты никогда не становятся логопедами!

— А я стану. Увидишь.

Она помолчала. Похоже, ей стало все равно.

— Делай как знаешь. Уходи, я не хочу тебя видеть.

Он ушел. Еще несколько месяцев, до окончания школы, Лева жил вместе с матерью, так же готовил еду для себя и для нее. Но больше они не перемолвились ни единым словом. Она приходила поздно вечером, молча ела и сразу ложилась спать. Он в это время читал в своей комнате. Прошло какое-то время. Он окончил школу, без труда поступил в университет и переехал в общежитие. Перед тем как съехать с квартиры, он приготовил для матери еду.

Наталья Михайловна пришла поздно вечером, поела и сразу же легла спать. Отсутствие сына она заметила только на следующий вечер, не найдя готового ужина. Тогда, поняв, что сын ушел, она стала готовить для себя утром сама.

В университете Лева по успеваемости сразу выдвинулся в первые ряды. Немного отставал он только по истории общественных движений. В нем проснулся литературный дар, и он стал писать — так много, что однокурсники только диву давались. Заблукаев писал в общежитии, по вечерам и по ночам, а также по выходным, когда однокурсники его, люди молодые и несерьезные, проводили время в пирушках. Писал он также на лекциях. Его постоянно просили прочесть то, что он написал, и он читал — в коридорах, в аудиториях, на улице. Голос у него был довольно неприятный, высокий и резкий, но читал (и, главное, писал) Заблукаев с таким жаром, что все его слушатели немедленно проникались его идеями. Он мечтал донести свое слово до самых широких масс, но времени у него на это было мало — ведь надо было еще писать, и писать много. Он был переполнен идеями, которые искали выхода. Иногда его трясло от этих идей, и он срочно хватался за перо и принимался лихорадочно писать, рука прыгала, он удерживал ее другой рукой, бумага комкалась, он сыпал кляксами, которые разбрызгивались по бумаге, по столу, он размазывал их, не замечая, — ему было очень важно записать то, что лилось из него, сыпалось, валилось, рвалось.

Преподаватели относились к нему с опаской. Факультет журналистики был заведением довольно либеральным по сравнению с тем же филологическим факультетом, где деканом сидел логопед, назначенный туда с подачи центральной логопедической комиссии. Большинство преподавателей факультета журналистики исповедовали те же взгляды на язык, что и Наталья Михайловна, — здесь тоже были в моде разговоры об эволюционном развитии языка, о воле народа, выражающейся в ломке отживших ор-

фографических правил и тому подобное. Факультет осмеливался даже изредка публиковать сборники трудов, озаглавленные «Народное произношение: проблемы, поиски, решения» и «Олфоглафия»: иной взгляд на проблему». Понятно, что конфликты с логопедической цензурой у факультета вспыхивали регулярно.

Савонаролой пришел молодой Заблукаев в это царство артикуляционного разврата. Его проповеди поражали. В многочисленных своих неопубликованных статьях он призывал неусыпно блюсти закрепленные законодательством орфоэпические нормы, немедленно отмечать так называемое народное произношение и даже применять санкции к тем, кто поощряет порчу языка под видом поддержки языковой реформы.

Несмотря на то что у Заблукаева могло быть немало сторонников, его так и не решались поддержать публично. Возможно, этому мешала его ярость. В сущности, ему не были нужны сторонники, ему были нужны слушатели. Всех слушателей он считал своими сторонниками. Энергия его слов была такова, что в какой-то момент слушатели разлетались во все стороны и оставался он один, беснующийся в пустой аудитории. Ему это нравилось: ему казалось, что его слушатели, возгоревшись правдой его слов, отправлялись... тут ему не хватало воображения дорисовать, что же собирались делать его слушатели под влиянием его речей. Ему казалось, что они отправлялись менять мир, менять язык и что именно он благословил их на это.

Правда же была в том, что слушавшие Заблукаева люди плохо понимали его. Он говорил словами из старых книг, выговаривая их четко, наслаждаясь их звучанием, но мало кто мог по-настоящему уловить смысл заблукаевских речей. На бумаге еще куда ни шло — но его сочинений не печатали. Он пробовал дать несколько статей в университетскую газету, но там их не приняли. «Волопедичевкая бвехня», — выразился редактор, лохматый чудик с биофа-

ка. Заблукаев ожидал этого. Чего еще ждать от пособников насилия над языком? Но он чувствовал необходимость найти печатный рупор для своих идей, поэтому через месяц принес редактору еще одну статью. Он и сам не знал, зачем он опять явился в редакцию. При всей чужаковости редактор показался ему толковым. И Заблукаев принес ему очередную свою статью, присовокупив, что газета должна отражать диапазон мнений.

Непоправимость этого поступка открылась Заблукаеву слишком поздно. Долгое время ему казалось, что его не слышат, что он глаголет в пустыне. Он вспомнил, как еще в детстве считал, что лишь он один видит постыдное надругательство над языком. Все свое отчаяние излил он в новой статье. В ней он неистово обрушивался на школьные программы, попустительствующие размыванию языковых норм, искажающие законодательство. Программы, убивающие в учащихся любовь к правильной речи с ведома Министерства образования, которое целенаправленно назначает учителями и завучами сторонников пагубной языковой реформы. Статья называлась «Минообразный язык». Она занимала целых пятнадцать страниц машинописи. Чудик с биофака побледнел, пробежав ее глазами.

После этого Заблукаеву не удалось бы долее заявлять, что его никто не слышит, даже если бы он захотел. Ибо вопль получился оглушительным. Статью, конечно, не напечатали, но уже на следующий день она лежала на столе ректора. Еще через три дня студент второго курса Лев Заблукаев был отчислен из университета.

Заблукаев внутренне ликовал. У него получилось! Его отчислили из университета за политические взгляды. Разумеется, он не добивался этого — куда лучше окончить университет и получить диплом специалиста. Но это отчисление, оно лишний раз доказало, какое засилье противников правильной речи царит в стране. Они всюду — вредители пробрались в образовательные учреждения, в министерства, в газеты, они диктуют свои правила. Это

они творят насилие над языком. Их одергивают, конечно, иногда особенно зарвавшихся снимают с работы. Но почему не жесткие меры? Почему не показательные процессы? К ликованию примешивалось горькое недоумение.

С недавних пор им завладела одна идея. Он начал работу над книгой рассказов. Это были не его рассказы — даром художественного слова он обладал в меньшей степени, чем даром публициста. Нет, Заблукаев решил собрать рассказы неудавшихся кандидатов в органы власти — жертв речеисправительных учреждений. На речеисправителей у Заблукаева давно уже был зуб. Ежегодно в их лапах сотни людей, решивших раз и навсегда покончить с неправильной речью, теряли ее навсегда, превращаясь в бесполезных калек — немтырей. Многие бесследно исчезали в специализированных исправительных домах. Другие, избежав этой жуткой участи, начинали мыкаться в поисках работы, постепенно скатываясь на самое дно. Злоупотребления и перегибы системы речеисправительных учреждений никто никогда не расследовал, имя этим преступлениям было легион. Заблукаев решил в одиночку взяться за это расследование.

Времени теперь у него было много. Заблукаева не смущало, что он уже не получит университетского образования. В конце концов, не оно было его конечной целью. Он хотел быть логопедом — назло сословным препонам, назло неписаным правилам. Он собирался завоевать право быть логопедом.

Заблукаев совершенно четко знал, где искать неудавшихся кандидатов. Всему городу было известно, что их во множестве можно найти в трактире Диколаева. В других заведениях их тоже было много, но трактир Диколаева они превратили в свой оплот, поэтому начинать следовало с него. Заблукаев так и не появился в других трактирах. Это было ни к чему. И без них в трактире Диколаева было вдоволь материала для исследования.

Заблукаев явился к Диколаеву и запросто попросился на место полового.

Диколаев нахмурился. Он не доверял людям, являющимся с улицы и просящимся на место полового. Диколаев предпочитал брать на эту работу людей проверенных — родственников или приходящих по рекомендации от знакомых. В ответ на его молчание Заблукаев принялся убеждать. Хотя убеждать он умел, ему было также известно, что Диколаев — человек недоверчивый и людей с улицы не любит. Поэтому он, зная историю Диколаева, решил надавить на чувствительное место и прямо сказал, что хочет внедриться в среду неудавшихся кандидатов, чтобы набрать материал для разгромной статьи о речеисправителях.

Хмурое лицо Диколаева разгладилось. Не дожидаясь ответа, Заблукаев вывалил перед собой на стол кипы бумаги — свои статьи. Диколаев протянул руку, взял стопку листов, стал читать. Заблукаев ждал. Он знал, что Диколаев не просто читает — он поверяет каждое слово статьи своим несчастным горьким опытом.

Минут через десять Диколаев поднял глаза. Еще минут пять он сидел неподвижно. Взгляд его где-то блуждал. Заблукаев устал ждать и стал рассматривать помещение. Комнатка была на задах трактира, в ней стоял нечистый стол, несколько табуретов, на стенах висели какие-то репродукции. Их-то он и взялся разглядывать — там были тракторы, веселые колхозницы, удалые комбайнеры, — но тут что-то его отвлекло.

Это на него смотрел Диколаев — неподвижно, сосредоточенно. Диколаев рассматривал Льва Заблукаева по частям — сначала лицо, потом одно плечо, затем другое, шею, грудь и так далее. Там, куда падал взгляд Диколаева, начинало чесаться, но чесаться, как моментально понял Заблукаев, было нельзя. Он было поднял руку, но взгляд Диколаева тут же поймал ее в фокус. Рука нестерпимо зачесалась. Заблукаев стиснул зубы, и тут зачесался живот, куда уперся неподвижный взгляд. Потом засвербел левый бок. Заблукаев молча извивался. Взгляд Диколаева продолжал его ощупывать и вдруг погас.

— Да, — глухо сказал Диколаев и поднялся.

Заблукаев понял, что его приняли. Диколаев куда-то сходил и принес длинный засаленный фартук, кинул на стол.

— Чтоб засветло, — молвил он.

— А во сколько? — решился уточнить Заблукаев.

Диколаев хмуро взглянул на него, но теперь от этого взгляда уже не чесалось.

— В час, когда в дутре дачинает гореть, — проговорил он.

И Заблукаев понял, что явиться на работу в трактир ему надлежит очень рано.

«Жил много лет назад в деревне Красная Лабуда один человек по фамилии Вовонин. Хороший был он человек. На птицефабрике забойщиком работал. Дом был — полная чаша. Икры куриной вдоволь. Жена красавица, детей трое, все сыновья. Дружно жили.

Да приключилось с ним вот что.

Вызывает его к себе председатель. Ну, говорит, Коштя, проштавляйся. Потому как тебя Партия выдвинула. Как Павтия? — говорит наш Вовонин. А его и правда весть эта изумила до самых глубин души. — Так, Коштик дорогой, — смеется председатель. — Жаметили тебя, значит. Вот бумагу пришили, читай. Смотрит Вовонин — и впрямь бумага официальная. А в ней черным по белому написано: “Отрядить Воронина Константина для прохождения речеисправительных курсов в связи с неотложной надобностью”. А Вовонин то честный был. Отложил он бумагу в сторону, вытянулся в струнку и говорит — не могу я, Иван Автемыч, в Павтию. Незвел еще. Нахмурился председатель, посуровел. Я те дам “не могу”, говорит. Мне тут из райкома жвонят, сам обер-шекретарь на проводе, а ты — не могу! Штоб утром был с вешшами!

Вот и весь разговор. Ну, собирается Вовонин и едет на курсы, как на казнь. Потому что слышал Вовонин, что люди

про те курсы сказывают. Встречает его здоровенный верзила — речеисправитель главный. А, говорит явился, говорит. Ну, проходи-садись, — а сам рукава закатывает. Сейчас мы тебя, говорит, Воронин, лечить зачнем. Ну-ка, скажи: “Ровно-ровно рыли ров, рядно-рядно крыли ряд”. Аж сердце зашло у Вовонина от этих слов. Попробовал он их произнести, но, кроме “вовно-вовно выли вов”, ничего у него не вышло. Ага, говорит главный речеисправитель, да ты никуда не годишься. И где калек таких Партия находит? Ну-ка, скажи: “Шкворень произвел разор, скройка скрыта от взора”. И опять ничего не вышло у Вовонина. Говорить-то говорит, но ничего из этого сказанного главному речеисправителю не нравится.

Так и почали лечить Вовонина. Чего только с ним не творили! И заставляли книжки толстые вслух читать, и языком щелкать, и камешки в рот совали, и посреди ночи будили-пугали. Добились только, что некоторые слова стал Вовонин правильно произносить. “Разбой”, например. Узнав об этом, главный речеисправитель был так доволен, что стал Вовонина разным комиссиям показывать — смотрите, мол, каких успехов в речеисправлении мы добились.

Да только стали замечать эти самые комиссии, что слово-то Вовонин говорит правильно, но повторяет его слишком часто. И впрямь — стоит попросить Вовонина нашего произнести слово “разбой”, как он и заводит его на полчаса — разбой, разбой, разбой! — пока главный речеисправитель его по затылку легонько не шмякнет. А потом и вовсе перестал Вовонин другие слова произносить. Сидит себе тихонько в уголке и бормочет — разбой, разбой! Скоро его в исправдом и свезли.

Вот как пропал человек».

О несчастном Воронине, как, впрочем, и о других жертвах речеисправителей, Заблукаев узнал от Юбина. Впоследствии Заблукаев не раз благодарил Провидение за то, что оно свело его с Юбиным. Ведь Заблукаев мог с ним и

не встретиться, хотя Юбин был постоянным обитателем трактира Диколаева. К тому времени Заблукаев прослужил в трактире уже месяц. Три раза уже он поскользнулся на полу, падал и сильно ушибался; как-то раз здорово обварился кипятком из самовара; а однажды его съездил по уху в дымину пьяный посетитель. Все это Заблукаев сносил безропотно, даже не замечая. Повязав обваренную руку какой-то тряпкой, он шустро носился меж столами, разносил, подливал, убирал. А как выдавалась свободная минутка, заскакивал в ту комнату, которую выбрали своим убежищем неудачливые кандидаты. Никто не знал, сколько их здесь ютится в этой комнате. Большую часть ее занимала невероятных размеров печь, давно не топившаяся. Кандидаты жили на ней, с боков и внутри нее. Днем они разбредались из трактира: кто — просить милостыню, а кто — подворовывать. Однако к ночи в комнате становилось шумно. Здесь пили, пели, играли, плакали и даже, случалось, кончали с собой.

Заблукаев изо всех сил пытался сблизиться хоть с одним из кандидатов, но его подводила правильная речь. Стоило кандидатам услышать ее, как вой и брань наполняли комнату. Заблукаева гнали вон пинками и обидными словами. Кандидаты считали, что он подослан, причем они не разбирались, кем именно. Одни считали, что его подослало правительство, другие, — что логопеды, третьи были уверены, что его прислал Диколаев взимать с них старые долги за выпитое. Так или иначе, но Заблукаева в этой комнате не жаловали.

Не любили его и другие половые. Это был простой народ, разговаривавший на ужасающем, по мнению Заблукаева, языке. В первый же вечер Заблукаев, улучив момент, пришел на кухню и попытался доступно рассказать о благах и привлекательных сторонах правильной речи, но его подняли на смех и чуть не побили. Среди половых за ним тут же закрепилась кличка Лева-Болтолог. Заблукаев стал излюбленной мишенью шуток и дурацких розыгрышей. Его

передразнивали, ставили ему подножки, мазали всякой дрянью. Заблукаев переносил все это стоически. У него была миссия. Он хотел раскрыть миру масштабы злодеяний речеисправителей.

Прошел месяц, как Заблукаев нанялся в трактир Диколаева половым. Он уже привык к своей ежедневной работе. Его стали узнавать посетители. Потекли тонким, пока еще не щедрым ручейком чаевые. Однажды Заблукаева послали в комнату неудачливых кандидатов убрать со стола. Был почти полдень, комната была пуста, только возле печки сидел на табуретке человек и тренькал на балалайке. Заблукаев собирал гремящую посуду на поднос, и его вдруг поразило странное поведение человека: тот время от времени переставал играть и что-то отрывисто и зло говорил куда-то в угол, за печку, точно огрызался. Заблукаев приблизился к нему и заглянул за печку, чтобы понять, с кем человек разговаривает. Балалаечник не обратил на Заблукаева ровно никакого внимания: он был вусмерть пьян.

За печкой, словно некий таракан, сидел маленький, грязный, толстый старик и тарачился на Заблукаева подслеповатыми глазами. Заблукаев так растерялся, что спросил:

— Вы кто?

— Я Юбин, — ответил тот. Голос у него был как почти неслышный свист — видно, пропитой. — Эй! — окликнул он человека с балалайкой. — Опять не ту струну дергаешь, черт!

Балалаечник в ответ немедленно выразился в том духе, чтоб, мол, ядрило Юбина в корень всю оставшуюся жизнь. Юбин отнесся к этому равнодушно.

— Сижу вот, — неожиданно пожаловался он Заблукаеву. — Что, не кончился мир еще?

— Еще нет.

— А то говорили, что конец всему скоро. Не слышал?

— Нет.

— Сам-то ты кто?

— Половым я тут.

Юбин оживился, его лицо приняло жалостливое выражение.

— Мне бы лекарства. Горло вот. — он старательно закашлял.

Заблукаев налил ему стопку. Юбин с чувством выпил. Так началась их дружба.

Многое поведал Юбин Заблукаеву. В первую очередь рассказал он историю собственной жизни. Юбин тоже был неудачливый кандидат, но сквозь мучительства речеисправителей ему пройти не довелось. В прошлом был он столяр-одиночка. Партия заметила его, когда Юбину было двадцать семь. К тому времени у него было собственное маленькое дело, люди шли к нему издалека, прослышав о его золотых руках. А делал Юбин в основном табуреты. Они выходили у него на диво хороши — крепкие и устойчивые. С них не падали, разве по собственной глупости. На них можно было плюхаться без зазрения совести. На них можно было скакать по комнате, если вдруг нужда приспееет. Ими можно было драться, и ничего им не делалось, а делалось только тем, кто получал таким табуретом по голове или другому месту. Короче говоря, спрос на юбинские табуреты был огромный.

Вот тогда Партия и заметила Юбина. Сигнализировал, видимо, кто-то, что у мастера хорошо работают не только руки, но и голова, что ум у Юбина ясный, смекалка выдающаяся, организаторские способности в порядке. И пришла к нему официальная бумага с приказом собраться в трехдневный срок и явиться для прохождения речеисправительных курсов.

Тут нужно сказать, что речь Юбина всегда была очень правильной. В детстве он много читал и потом в ремесленном учился на одни пятерки. Он любил и уважал родную речь и считал для себя недопустимым разговаривать на неправильном языке, грешащем невыговариванием отдельных согласных. Этим он настолько выделялся среди

прочих столяров, что о нем однажды даже с похвалой написала одна популярная газета. Правда, после этого другие столяры перестали с Юбиным здороваться, и он загрустил. Призыв Партии и особенно приказ явиться для прохождения речеисправительных курсов показались ему настолько оскорбительными, что он загрустил еще больше.

Дело даже не в том, что Юбин ненавидел всякого рода призывы, приказы, приводы и прочие подобные приемы. Просто он втайне гордился своей орфографической лояльностью, особенно на фоне повального неповиновения, открытого попрания законодательства. Сначала Юбин грустил. Потом немножко запил — несильно, а так, чтобы показать, насколько он расстроен. А потом, когда пришла вторая бумага с грозным повелением завтра же явиться на ближайший речеисправительный пункт, Юбин исчез.

«Испугался», — злорадно говорили столяры. Но Юбин не испугался. Это была единственная форма протеста, которую он мог себе позволить. Он решил где-нибудь отсидеться, для чего сначала подался к сестре, жившей на тихой окраине. А как стали его через неделю-другую искать, переселился в трактир Диколаева. Здесь, среди кандидатов-неудачников, немтырей, ярыжек никому и в голову не пришло его искать. Прошел год, и про Юбина забыли, объявили пропавшим без вести. А Юбин поселился за печкой. И только сердобольная сестра иногда навещала его, приносила домашнюю еду, со слезами на глазах, подперев голову рукой, смотрела, как он ест.

Благодаря своей удивительной памяти он со временем превратился в историка Партии. Только была это история не взлетов и побед, не удивительных свершений и подвигов. Нет, это была история провалов, трагедий маленьких людей, история неслышных протестов и неподчинений, история лишений и заточений, обескураживающих приговоров, тяжких увечий, самоубийств, горечи. Юбин не писал ее, эту историю, — она сама складывалась в его го-

лове, и он временами собирал вокруг себя людей и рассказывал об отдельных эпизодах, и тогда у собравшихся вокруг на глаза наворачивались слезы.

Юбин стал настоящим подарком для Заблукаева. В первый же вечер, поняв, чего Заблукаеву нужно, Юбин просто спросил: «Послабее или посильнее?» И Заблукаев ответил: «Посильнее, покруче». Юбин кивнул и начал вываливать на него самые тяжелые, самые трагические истории, свидетелем которым ему довелось быть.

Заблукаев забыл обо всем на свете. К реальности его возвращал оклик какого-нибудь посетителя, и тогда он, словно в дурмане, шел к нему и прислуживал. Но потом вновь возвращался к Юбину и записывал, записывал. Десятки сломанных судеб вставали перед его глазами.

Тогда же впервые Заблукаев услышал о Языке. Это был сквозной персонаж многих юбинских рассказов, жестокий деспот, ломающий судьбы, и поначалу Заблукаев решил, что Язык — прозвище какого-нибудь свирепого речеисправителя. Он спросил об этом Юбина. Тот замолчал и усталился на Заблукаева своими подслеповатыми глазками.

— Вон оно как, — просипел он наконец. — Ты, значит, о Языке не слыхал?

— Нет.

— Не знаешь, значит, кто это?

— Нет.

— И он к тебе не приходил?

Заблукаев снова ответил отрицательно.

— Счастливый ты, паря, — сказал Юбин. — Но погоди маленько, он и к тебе придет.

— Кто?

— Язык.

— Да кто это такой?

— Язык — это, Лева, Язык! Ты ведь не говоришь на нем?

— Как не говорю? Говорю!

— Да нет, ты по книжкам говоришь. А он этого не любит. Он любит, когда все на нем говорят.

— И что, если я на нем не говорю?

— Он заставляет. Он насылает слова. Я ж тебе рассказывал. Помнишь тот рассказ о Пискунове, инженере? Это его Язык так. Пискунов-то не выдержал, наложил на себя руки. Помнишь?

Заблукаев с восхищением смотрел на Юбина. Перед ним словно открылся живой источник фольклора, явился автор произведения, которое потомки будут называть народным творчеством. Какая фантазия! Надо же, сделать персонажем Язык. «Какие же чудесные способности сокрыты в нашем народе», — думал Заблукаев.

Сборник, озаглавленный «Немтыри», был готов меньше чем через месяц. Заблукаев не упомянул имени Юбина, даже не вынес тому никакой благодарности из-за боязни навлечь на голову старика гнев властей. Однажды ясным весенним утром Заблукаев положил свой рукописный сборник в папку и отправился в столичную логопедическую коллегия. Сборник был его заявкой, его доказательством профпригодности, его вступительным экзаменом на звание логопеда.

В своем успехе он не сомневался.

Глава тлетья

Лет за сто до появления на свет Рожнова произошло переломное в жизни страны событие: на восемьдесят седьмом году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, скончался генерал-прокурор Высокой Управы Петр Геннадьевич Шерстобитов, и чрезвычайный пленум после долгих прений назначил на его место члена Управы Тарабрина.

До этого Василия Егоровича Тарабрина никто не знал. Шутка ли — двадцать девять членов Управы в возрасте от пятидесяти восьми до восьмидесяти пяти лет, все на одно лицо и с одинаковыми биографиями. Однако Тарабрин

все же среди них выделялся. Во-первых, в свои пятьдесят восемь лет это был самый молодой член Управы. Во-вторых, в прошлом он был директором крупного завода и был призван Партией с этой должности сразу на пост кандидата в члены Управы, тогда как остальные члены Управы были призваны совсем молодыми и начинали на самых низших ступенях партийно-должностной лестницы. В-третьих, Тарабрина никто не считал преемником Шерстобитова. Семнадцать лет правил Петр Геннадьевич страной, и все эти долгие годы его преемником привыкли считать Николая Ивановича Жмакова, министра внутренних дел. Однако Жмаков так и не дождался назначения на высшую должность: он умер в день своего восьмидесятилетнего юбилея, ровно за три дня до кончины Шерстобитова. Уход всеильного министра внутренних дел потрясла Управу еще сильнее, чем смерть Шерстобитова, который в последние годы тяжело болел. Когда должность генерал-прокурора занял Тарабрин, пост министра внутренних дел еще пустовал: так сильна была вера в то, что Жмаков вернется. В это верил и сам Тарабрин — новый министр внутренних дел был назначен лишь спустя несколько месяцев после вступления Василия Егоровича в должность.

С волнением принялась доискиваться страна подробностей биографии нового правителя. Официальная биография, опубликованная в правительственной газете, была обкатана, как голыш: родился в маленьком промышленном городке, окончил местный техникум, трудовую деятельность начинал на местном градообразующем предприятии, в двадцать девять лет — главный инженер, в тридцать два — директор завода; в сорок шесть лет призван Партией, кандидат в члены Высокой Управы, курировал вопросы промышленного производства; в пятьдесят три года стал членом Управы, министр горной промышленности. Кандидат технических наук. Биографию нового генерал-прокурора долго и тщательно освобождали от лишних подробностей.

Но в народе пошли странные слухи. С уверенностью говорили, например, что новый генерал-прокурор — несусветный богач и владеет чуть ли не всеми заводами в стране; что он за демократию, сиречь народоуправство; что он собственноручно удушил Жмакова, а потом свалил все на иностранные разведки; что те купили его с потрохами, чтобы он удушил Жмакова; что Жмаков был фантастический богач, владевший всеми заводами в стране, и Тарабрин убил его, чтобы завладеть всем этим фантастическим богатством; что, наконец, новый генерал-прокурор Высокой Управы Василий Егорович Тарабрин — немой.

В последнее обстоятельство особенно трудно верилось. У власти в стране побывало немало слабовидящих и даже один настоящий слепой, который выбирал пути развития страны на ощупь. Были и абсолютно глухие правители, особенно к воплям народным. Были безногие, безручешшие, расслабленные. Довольно много приходило к власти безумцев. Но вот немой... Немых как-то не случалось. Все-таки в политике, даже во времена революций, войн, голодов и моров, всегда к власти приводит живое слово, хорошо подвешенный язык. Пускай он мелет что ни попадя, пускай один известный в истории страны безумец вел речи уму непостижимые, в результате чего с лица земли исчезла пара государств и несколько протекторатов. Но он все же что-то говорил, и народ его слушал. Как будет общаться с народом немой, всецело поддерживающий идеи демократии? Нет, в немому нового генерал-прокурора никто не поверил.

А он как будто и сам вознамерился развеять этот миф. Впервые в истории страны новоназначенный генерал-прокурор объявил о том, что выступит с обращением к народу. «О чем он будет говорить? Решил доказать, что он не немой! Это не он будет выступать, это его двойник!» — начались лихорадочные разговоры. В назначенный день вся страна прильнула к телевизору.

На экране появился румяный лысоватый человек, бодро перебирающий какие-то бумажки. Страна замерла. Неужели это и есть сам генерал-прокурор? Но тут внизу экрана появилась надпись: «Василий Тарабрин, генерал-прокурор Высокой Управы», и у народа отпали всяческие сомнения.

«Что он скажет?» — возникла одинаковая мысль в миллионах голов.

Речь Василия Егоровича началась так:

— Додогие товадиси! Глаздане! В этот сяс, когда все мы оплакиваем консину Петда Геннадьевича Седстобитова, насего додогого дуководителя в тесение семнадцати плодотводных лет, позвольте, товадиси, обдатиться к вам со словами поддедзки. В эту тдудную минуту хотелось бы подседкнуть, что Падтия не бдосила вас. Со всей ответственностью могу заявить, что дуководство стданы непдестанно дазмышляет о пдавильном ходе дазвития и осознает полную ответственность за условия зизни надада, за безопасность додины, за ведное воспитание людей, особенно молодежи. Своевдеменно понять объективные потдебности обсества на данном этапе, вовдемя найти наилуссее десение наздевсих пдоблем, способ пдеодоления возникаюсих тдудностей, пути и фодмы наиболее быстдого двизения впедед — все эти задаси лозатся на нас, дуководителей насей стданы. Пдинимая на себя нелегкое бдемя дуководства Высокой Упдавой, могу со всей откдovenностью пдизнать — нелегко, товадиси. Нелегко пдетводить в зизнь эти задаси. Только сообся, вместе, единым фдонтом смозем мы спдавиться с данными пдоблемами, десение котодых пдставляется делом нелегким и дазе кдайне слозным. Истодисеский опыт свидетельствует...

Так, медленно, внушительно, веско, говорил новый генерал-прокурор. Но народ не вслушивался в суть его речей. Народ ликовал. После десятилетий скучных официальных спичей люди наконец услышали живой язык, родную речь. «Да он наш в доску! — радовался народ,

слушая нового генерал-прокурора. — Во как велно мужик говолит — плям за душу белет!»

Пока широкие массы бурно радовались появлению близкого народу правителя, массы не столь широкие пребывали в ступоре. О том, какая лежит пропасть между правильной литературной речью и разговорным языком, до сей поры писали только некоторые филологи. Кроме того, что писали они об этом очень осторожно и придерживались взглядов на возрождение языка самых оптимистических, их работы были изначально рассчитаны на весьма узкую научную аудиторию, поэтому широким массам были не известны.

И тут прозвучала речь Тарабрина. Никогда еще язык, которым разговаривала улица, не звучал из уст руководителей страны. «Как допустили? — возник немедленный вопрос у не столь широких масс. — Кто допустил?» И следом за этим: «Кто его выбрал?»

Но эти недовольные вопросы потонули в народном ликование. Тарабрин был захлестнут бешеной популярностью. Его поездки по стране и встречи с общественностью привлекали многотысячные толпы. Все старались поговорить с ним на своем языке, и он всем на том же языке отвечал. Ему стали подражать. А тут он еще объявил о начале экономических реформ, пообещал поднять «задплату». После этого любовь народа к нему начала обретать черты культа.

Знаменитое «Письмо логопедов» появилось через полгода после назначения Тарабрина на высшую должность, когда генерал-прокурор был на пике своей популярности. Народ об этом письме так ничего и не узнал — логопеды воспользовались своими каналами, чтобы письмо попало в Управу. Инициатором подготовки письма был главный логопед страны Леонид Мезенцев. Письмо подписали сто восемьдесят человек. Впоследствии стало принято считать, что все они являлись логопедами. Однако были среди них и известные филологи — лексикографы, фоноло-

ги, лингвисты, а также несколько писателей и редакторов крупнейших газет. Всех их объединила тревога за будущее языка. «Коль уличная речь зазвучала со столь высоких трибун, коль одномоментно косноязычие оказалось возведено в ранг литературной речи — не значит ли это, что попрание языковых норм отныне норма?» — вопрошали они. И далее: «Каково будущее страны без будущего самого языка? Может ли государство существовать без языка? Возможен ли такой язык, который одерживает победу над нормами и правилами? Мы отвечаем — да, такое возможно, но такого языка не должно быть. Мы отвечаем — нет и не должно быть такого правителя, который утверждает языковое беззаконие собственным примером!»

Сложно сказать, что именно свалило Тарабрина, — это письмо или оппозиция обещанным им коренным реформам. Известно, что послание было направлено на имя члена Управы Бронникова, который возглавлял негласную оппозицию тарабринским начинаниям. Стараниями последнего этот текст был разослан остальным членам Управы, а также кандидатам в члены. Тарабрин узнал о письме последним. Он, видимо, попытался что-то предпринять, потому что некоторые деятели, подписавшие письмо, были сняты со своих должностей. Но не прошло и двух месяцев, как резолюцией чрезвычайного пленума сам Василий Тарабрин был исключен из Партии, снят со всех постов и обвинен в превышении должностных полномочий. Новым генерал-прокурором был назначен генерал-лейтенант Александр Бронников, а имя прежнего генерал-прокурора исчезло из всех официальных документов. Поговаривали, что его предали закрытому суду, но что случилось с ним после этого и каков был приговор, узнать было уже нельзя.

Историю касты логопедов принято отсчитывать с того времени. Все те, кто подписал знаменитое письмо, стали родоначальниками логопедических семей, а потомки Ле-

онида Мезенцева стали занимать наследственную должность обер-логопеда при Высокой Управе. Был среди подписавшихся и некий Михаил Рожнов, предок Юрия Петровича. Впоследствии он занимал видное место в Совете логопедов. С него началась династия логопедов Рожновых.

После падения Тарабрина в народе начались волнения. Народ хотел знать. Сутками на главной столичной площади простаивали многочисленные пикетчики, дружно выкрикивая:

— Та-ла-блин! Та-ла-блин!

Их разгоняли, сажали в тюрьмы, но полку их все прибавлялось. Вскоре эти протесты вылились в широкомащтабное движение за освобождение Тарабрина. Его участники получили прозвание тарабаров. Множество тарабаров погибло во время разгона демонстраций, тысячи были брошены за решетку и отправлены в лагеря. Но и спустя десятилетия после свержения Тарабрина тарабары, уйдя в глубокое подполье, продолжали верить, что их кумир Василий Тарабрин, которого они называли Дуководитель, всего лишь до времени скрыт от мира, а однажды явится — и тогда настанет Царство Истинного Языка.

При генерал-прокуроре Бронникове были приняты первые орфоэпические законодательные акты — Закон о чистоте языка и ряд важных постановлений. Тогда же начались гонения и на тех, кого впоследствии назвали болтунами, — приверженцев мистического учения, считающего язык богом, а непрекращающееся болтанье — жертвой ему. Себя они называли лингварами, а свое учение — самым древним из существующих на земле. В отличие от тарабаров, которые избрали путь мирного сопротивления властям, болтуны с самого начала оказывали вооруженный отпор правительственным войскам. Целые дивизии были брошены на штурм укрепленных убежищ лингваров, расположенных в гористых местах и в непролазных чашобах. Жертвы среди воинских частей исчислялись тысячами.

Сколько погибло лингваров, неизвестно: взятых в плен уничтожали на месте.

При Бронникове оформились и уставы логопедов. Были приняты процедуры присяги, избран Совет логопедов, имевший самое непосредственное влияние на принимаемые Управой государственные решения, в том числе по самому важному вопросу — кадровому. Организация логопедов с самого начала была закрытой, по типу ордена с наследственным членством. Со стороны проникнуть в касту было невозможно. Члены семей логопедов, особенно старшие сыновья, с детства проходили жесточайшую языковую муштру, в результате чего речевые нормы вьедались им в память так крепко, что запоминались на всю жизнь. Бывали случаи, когда дряхлые старики-логопеды, которые не помнили ни имен, ни лиц своих детей, могли по памяти цитировать целые страницы грамматических правил.

Институту логопедов передали еще и цензорские полномочия. Теперь в каждом печатном издании был свой маленький штатный логопедический отдел — уже тогда руководство страны осознавало степень разрушения языка. По результатам одного исследования, 89 процентов редакторов газет и издательств по разным причинам, в том числе по соображениям либерализма, пропускали в печать слова, не соответствовавшие нормам. Возникнув как институт вполне демократический, направленный на сохранение языка, логопедическая цензура вскоре превратилась в инструмент подавления либеральных изданий, заигрывавших с народным языком и проводивших политику постепенного «размывания норм». Многие либеральные редакторы всерьез заболели идеями хождения в народ, чтобы там, в гуще народной, припасть к живительному источнику настоящей родной речи. Возвращались они просветленными, говорящими на таком языке, что их не понимали даже их близкие. Этой-то речью и были переполнены такие газеты, как «Светоц», «Водная вещь», «Клестьянин».

Этим изданиям суждено было первыми пасть под ножом логопедической цензуры. Сначала был закрыт «Клестьянин», орган Союза за восстановление языка, а сам Союз под руководством поэта Зюряева в полном составе принудительно отправлен на речеисправительные курсы.

За «Клестьянином» последовало закрытие газет «Светоц» и еще десятка других, поменьше и менее известных. «Водная вещь» одно время выходила подпольно, пока ее редактор, капитан Соколовский, скрывался от разыскивавших его органов. Когда Соколовского наконец взяли, под его кроватью был обнаружен полный комплект газеты, а в чулане — полиграфическое оборудование. Говорят, Соколовский при задержании долго отстреливался, а потом попытался выброситься из окна, однако не сумел отодрать ставень. Его судили и приговорили к пяти годам лишения свободы. Он умер в тюрьме, не дождавшись амнистии.

Тогда же огромные полномочия получил институт речеисправителей. Вначале это была государственная служба, полностью подчиненная главному логопеду страны, но первый ее директор Аким Корнильев путем сложнейших маневров сумел добиться того, чтобы служба стала частью судебной системы. В результате речеисправительное ведомство со временем превратилось в один из мощнейших судебных институтов, фактически не подчинявшихся ни Управе, ни Совету логопедов.

Коренные реформы затронули и Партию. Когда-то ее создали легендарные Отцы-основатели, имена которых за давностью лет забылись. Они нарекли Партию Народной. Почти полсотни лет просуществовала она под этим именем, пройдя множество реорганизаций, саморопусков и возрождений, сменив сонмы председателей, проведя десятки съездов и пленумов и ни разу не расколовшись. Никто не заметил, как Партию стали называть Наводной. Это пришло само собой после очередного съезда. Просто выступил еще один оратор, председатель колхоза, при-

знался в любви к «водной Наводной павтии» — и пошло. Из стенограммы съезда перекинулось в газеты, те подхватили, а там генерал-прокурор повторил-оговорился с трибуны. Когда спохватились, было поздно. Все райкомы и обкомы оказались забиты людьми — членами Партии. Они требовали сменить партбилеты, потому что там «неправильно написано». Им потихоньку разъяснили, что есть решение сверху оставить до поры название «Народная». Так бы и затихло, если бы не вмешались логопеды. Они заставили партийное руководство провести внеочередной съезд, на котором было принято историческое решение о смене названия Партии. Отныне она стала именоваться Демократической.

Почти полсотни лет просуществовала она под этим именем, пройдя множество реорганизаций, самороспусков и возрождений, сменив сонмы председателей, проведя десятки съездов и пленумов и ни разу не расколовшись. Но пришел очередной съезд, на трибуну взошел очередной оратор, простой председатель совхоза, выступил с пламенной речью о невозможности допустить раскол, призвал любить «водную Демократическую павтию» — и пошло. Из стенограммы съезда перекинулось в газеты, те подхватили, а там генерал-прокурор повторил-оговорился с трибуны. Когда спохватились, было поздно. На следующее же утро после речи генерал-прокурора народ потянулся в райкомы и обкомы — менять неправильные партбилеты. Но тут логопеды были уже настороже. Целую неделю заворачивали они обратно людей, пришедших менять партбилеты, уговаривая всех вернуться по домам и дожидаться ответственного решения. А когда все успокоилось, провели внеочередной съезд, на котором было принято историческое решение — сменить название Партии. Отныне она стала называться Народно-Демократической.

С того времени логопеды начали добиваться, чтобы логопедическую проверку проходили не только кандида-

ты на руководящие должности, но и кандидаты в члены Партии. Логопеды настаивали на внедрении низовых проверок, и это стало началом долгого конфликта между логопедами и партийным руководством. Партия желала призывать всех независимо от погрешностей речи, а логопеды настаивали на том, что призванные должны избираться по принципу чистоты языка. Именно она, чистота речи кандидата, должна была стать мерилom его патриотизма, его отношения к Родине, родной речи. «Тогда нам некого будет призывать», — возражало партийное руководство. «Вот и пускай, — отвечали логопеды. — Зато эти немногие будут призваны по одному, самому важному, признаку — умению правильно говорить».

На протяжении долгих десятилетий логопеды и верхушка Партии схлестывались по этому вопросу. Два члена Управы лишились своих постов в результате напора логопедов. Три логопеда, самые рьяные сторонники внедрения низовых проверок, в результате ответных хитроумных махинаций Управы были обвинены по разным статьям, лишены звания и сосланы. Согласие по вопросу низовых проверок так и не было достигнуто — кандидатов в Партию продолжали тысячами призывать без прохождения предварительной логопедической проверки.

С той поры в логопедических кругах появилась и уже не затухала стойкая неприязнь к Партии и партийному руководству. Поскольку множество рядовых членов Партии называли ее Палтией, в среде логопедов возникло презрительное прозвище «палтус» — член Палтии. Именно ее, Палтию, логопеды считали главным тормозом на пути языковых реформ, сохранения родной речи.

Это неприязнь передалась и Рожнову. Он не застал поры великих столкновений на почве языка, легендарной эпохи установления орфоэпических правил и нормативов, но прекрасно помнил разговоры родителей, их жаркие обсуждения, их критику руководства Палтии. Юрик Рож-

нов был способный мальчик. Уже в два года он научился читать по старым книгам, в три был отдан в лицей, где учились только дети логопедов. Лицей располагался за высоким забором, обыкновенные дети сюда не допускались. В одном классе с Юриком училось двадцать человек, все мальчики. По традиции, девочки логопедами быть не могли. История сохранила редкие случаи, когда девочки благодаря уму и напористости становились ведущими логопедами и даже советниками Управы. По странному стечению обстоятельств имен этих выдающихся представительниц женского пола летописи не сохранили. Девочки из логопедических семей обычно шли в учительницы, врачи, управительницы домов. Однако Рожнов хорошо помнил, как мальчишкой лазил через забор в соседнюю школу, где учились девочки, и был поражен их правильной, хорошо поставленной речью. Оказалось, что многие школы для девочек пользовались теми же старыми учебниками, что и закрытые логопедические лицеи. Девочки, которых увидел Рожнов, были воспитанными и прекрасно одетыми. Их даже не хотелось дразнить. Одна ему понравилась больше всех, но, увы, их разделял высокий забор, находившийся под постоянным наблюдением учителей, и, будучи однажды пойман и примерно наказан, больше Юрик в соседнюю школу не лазил.

По воскресеньям учеников собирали в большом зале, где им надлежало петь хоралы. Юрик петь не любил. Он засматривался в окно. За окном была весна. В лицее учились пятьдесят шесть человек, и пятьдесят пять из них сейчас пели. Хорал, исполняемый полусотней неохотных глоток, вяло возносился к высоким сводам. Юрика раздражали писклявые голоса некоторых учеников, он думал о том, что сегодня же подговорит класс устроить им «темную». Еще он думал о нормах. Хорал был посвящен звуку «щ», его важности и значительности в образовании соответствующей орфоэпической нормы. Хорал призывал громы и молнии на головы всех шепелявых. Мысли

Юрика переносились на них, на этих несчастных. Он представлял себе, как однажды явится и излечит всех шепелявых от их недуга. Длинные, теряющиеся за горизонтом шеренги шепелявых виделись ему — и он сам, стоящий на холме, мановением руки излечивающий всех собравшихся от шепелявости. В голубом прозрачном окне была весна.

Его закадычным другом в лицее был Саша Ирошников, отпрыск одной из старейших логопедических семей, по матери — потомок Леонида Мезенцева. Серьезный не по годам, Саша логопедом быть не хотел. Он хотел быть биологом. Саша был вдумчив. Часами мог он смотреть на какую-нибудь муху, изучать прыгающего за окном воробья.

— Чего ты там увидел? — спрашивал его Юрик.

— Понимаешь, — раздумчиво отвечал Саша, — мы ничего не знаем об экологии воробьев, их взаимоотношениях с окружающим миром. Раньше проводились систематические исследования, но потом это перестало кому-либо быть интересным. Ну, воробьи и воробьи. Но ведь они безумно интересны. Говорят, в последнее время они научились каркать. Разве не интересно узнать, что их побудило к этому?

— Вороны, наверное.

— Это еще нужно доказать. А мухи? Ты никогда не замечал, что порой они хотят что-то нам передать? Тогда они садятся на потолке неким правильным иероглифом. Уверен, что он что-то означает, просто мы не даем себе труда в этом разобраться.

— Ты думаешь, что это китайские мухи? — спрашивал Юрик, прыская.

— Не знаю, — серьезно отвечал Саша. — Может, это мушиный язык. В любом случае в наших силах расшифровать эти знаки и проникнуть в тайну поведенческой модели мух.

Юрик восхищенно кивал. В ту минуту проникнуть в тайну поведенческой модели мух казалось ему самым важным делом в жизни. Они с Сашей могли разговаривать часами.

А еще у Рожнова остались в памяти походы за осиным медом. Осы жили в старом флигеле, который стоял в глубине школьного двора. Флигель давно был заброшен и со временем превратился в громадное осиное гнездо. Заходить туда боялись. Летом флигель жужжал — басовито и угрожающе. Много раз его пытались снести, однако ни одна строительная компания не хотела за это браться. Зато у маленьких логопедов появилась новая и довольно опасная игра — проникнуть во флигель и пробежать неуязвленным по всем двум его этажам. Выскакивать полагалось через заднюю дверь. Юра часто играл в эту игру, с визгом проносясь по пыльным коридорам флигеля и мельком заглядывая в брошенные комнаты, — почти все они были пусты, в одной висел портрет какого-то давно почившего члена Управы. Частенько Юра возвращался весь в укусах, оставленных озлобленными осами, которым до смерти надоели ученики лицея. Саша же никогда не играл в эти игры.

— Осы, — раздельно говорил он, поправляя очки, — никогда не забывают причиненного им вреда. Они так же злопамятны, как змеи. Умирая, они передают своим детям наказ во что бы то ни стало отомстить обидчикам. Вы можете забыть о том, как в детстве разорили осиное гнездо. Однако на склоне лет вас внезапно атакует оса, стараясь ужалить в щеку, нос, голову, то есть в самые уязвимые места вашего организма, и вы будете бегать как бешеный, стараясь от нее укрыться. Но она всего лишь выполняет наказ пращуров и мстит вам за тот давний вред. Так заслуженная кара настигнет вас через многие годы, ведь законы ос не знают сроков давности.

— Но мы же ничего не разоряем! — удивлялся Юра.

— А мед? Мед-то вы берете?

— Ну, мед! Его же у них полно.

— Мед, — раздельно отвечал Саша, поправляя очки, — осам необходим для кормления личинок. Вы у детей отбираете еду, понимаете?

Юра кивал, соглашался, но уже через пару дней, рискуя, крадясь, снова лез за жирным, черным, отдающим гнильцой осиным медом. Мед в лицее был самой ходовой валютой. Особым шиком было добыть сотовый мед, какой-то особенно черный, отдающий горечью, как смола. Горькими были и соты, но их все равно ели вместе с медом. За кражу сот осы мстили жестоко. Внезапно, посреди урока, в раскрытые окна влетал грозно жужжащий боевой отряд, и ученики с визгом начинали метаться по классу и выскакивать в двери. Обычно из помещения выбегали все, но Рожнов помнил и несколько случаев, когда весь класс во главе с учителем давал осам бой. Летучих захватчиков уничтожали всем, что под руку попадет, — учебниками, тетрадками, скинутыми с ног туфлями, половыми тряпками. Осы были юрки и ударопрочны. Их нужно было сначала сбивать тетрадью, а потом изо всей силы давить каблуком, иначе сбитая оса, угрожающе жужжа, поднималась с пола и вновь шла в атаку. В итоге покусаны бывали все, но счастья от одержанной победы это не омрачало. Однажды во время такого боя оса ужалила Юру в щеку, и потом недели две он ходил с раздутым лицом и заплывшим глазом, но гордый, словно раненый боец.

Осиным гнездом звал Юрин отец Управу. Петр Александрович Рожнов был человеком строгим, с взглядами на исправление языка совершенно инквизиторскими. Так, он полагал, что за несоблюдение языковых норм следует применять уголовную ответственность: за невыговаривание буквы «р» давать от пяти до десяти лет лишения свободы, за умышленную шепелявость — до пятнадцати лет, за намеренное преподавание искаженных правил — пожизненное заключение. Таким Петра Геннадьевича сделала многолетняя служба земским логопедом. В молодости он решил посвятить себя искоренению орфоэпической неграмотности и попросился отправить его в самую дикую глубинку, где ему представлялся настоящий простор для такой деятельности. Их было много таких — тех, кто решал

отправиться в народ и добрым правильным словом исправлять язык. Как много их там, в глубинке, и осталось — спилось, пало жертвой неизвестных болезней, слилось с народной массой и языком. Сколько земских логопедов было разорвано восставшим народом. А Петр Александрович продолжал свою деятельность. Девять лет, проведенных на колесах, в бесконечных переездах из одной деревни в другую, где он собирал толпы и заставлял повторять за собой: «У рока грозная рука. Рома дрожит: он не выучил урока. Срок проработки прошел. За срыв срока наказывают строго». И целые деревни испуганно повторяли за хмурым человеком в потрепанной шинели земского логопеда эти хмурые слова.

Но уезжал Петр Александрович — и все продолжалось по-прежнему. Лишь под Новый год дружно начинали тянуться к одинокому дому логопеда тяжелые телеги. Деревенские входили, низко кланялись, чинно садились у дверей. Петр Александрович, не поднимая головы и не здороваясь, сидел за столом, что-то быстро писал. На стене висели таблицы, орфоэпические и анатомические, на которых изображены были органы артикуляции в разрезе. Деревенские боязливо на них таращились. Кто-нибудь, осмелившись, робко кашлял. Петр Александрович поднимал голову и вонзал в пришедших горящий темной логопедической яростью взгляд.

— Мы это... мы, Петла Александлович, стало быть, поздравить вот...

Петр Александрович молча грохал кулаком по столу. Деревенские подпрыгивали.

— Поздравить! — скрежещущим голосом говорил логопед. — Ну-ка, повторили!

Деревенские начинали клекотать, стараясь произнести трудное слово. Наконец кому-нибудь из них удавалось его выговорить. Петр Александрович тут же успокаивался.

— Так мы это... — говорили деревенские, пятась к двери. — Мы, стало быть, того...

Петр Александрович недобро смотрел на них, усмехался.

— А чего приходили-то? — напоминал он.

— Ох ты! — встряхивались деревенские. — Сенька, давай тащи мешок! Мишка, к телеге беги, волоки, что там есть!

За несколько минут скудный дом логопеда наполнялся вкусно пахнущими мешочками, свертками, связками. Приносились и уважительно ставились на стол внушительные бутылки. Петр Александрович, не евший второй день, с неудовольствием слышал бурчание собственного голодного нутра.

— Ну, хватит! Довольно! — приказывал он.

— Да вот тут еще сметанка, — бормотали деревенские, растерянно останавливаясь посреди комнаты.

— Не надо... не надо сметанки! Пошли вон!

— Как скажете, — кланялись деревенские, пятась.

— Что?! — вскидывался Петр Александрович. — Скажете! Понятно?

— Скажете-скажете, — торопливо поправлялись деревенские и, толкаясь, выкатывались из дому.

Как только телеги скрывались из виду, Петр Александрович бросался к кулям, ставил на стол тарелки и плоски с едой, торопливо разрезал огромные караваи. Он ел так, словно до этого не притрагивался к еде целый год.

Прошло время. В столице прослышали об успехах молодого логопеда. Петра Александровича пригласили работать в одну из столичных логопедических комиссий и тем спасли ему жизнь — он был уже близок к самоубийству.

Мать Юры была секретарем логопедической коллегии. Она происходила из захудалого рода провинциальных логопедов и семнадцатилетней приехала в столицу поступать на учительницу. Связей у нее не было: отец давно умер, а дядя, член одной из столичных коллегий, о бедной родственнице не хотел и слышать. Софья поселилась у трою-

родной тетки, глухонемой старой девы. В университет она поступила с первого раза и целиком отдалась учебе. Преподаватели сразу заметили молчаливую девушку в скромном темном платье. Ее прилежание было по достоинству оценено — окончила Софья с золотой медалью, и ее сразу же распределили в одну из самых престижных столичных школ.

Однако не этим горела ее душа. Софья хотела быть логопедом и страстно ненавидела доставшийся ей удел. Тогда как раз открылись популяризаторские курсы по «логопедическому нормоупотреблению», и количество слушателей на них превысило самые смелые ожидания. Посещали эти курсы почти одни девушки из логопедических семей. По окончании выдавался диплом — скорее красивая бумажка, чем путевка в жизнь. Но Софья была рада и этому. Неожиданно ей понравился один лектор — высокий, худощавый, сурового вида человек в шинели земского логопеда. Он, кажется, тоже заметил ее — во всяком случае, перестал обращаться к аудитории и начал говорить, обращаясь только к ней, не сводя с нее темного напряженного взгляда. Однажды после курсов они столкнулись в коридоре — и уже не расставались. Через полгода они поженились.

Их разговорами было наполнено Юрино детство. Слово «палтус» превратилось в семье в шутовское ругательство. Оно стало синонимом слова «олух». «Во палтус!» — мог в шутку выбрать Юру отец, когда Юра чего-то не улавливал и переспрашивал. Или Юра приносил плохую отметку, и Петр Александрович крутил головой и восклицал:

— Форменный ты, Юрка, палтус!

И Юре было от этого очень стыдно.

Партия была предметом постоянных обсуждений родителей, их едких насмешек. Когда по телевизору показывали очередной парад и одинаковые лица на высшей трибуне, в доме стоял хохот. У каждого члена Управы была в доме своя кличка. Так, генерала Евстигнеева, министра внутрен-

них дел, называли Газырь. Надутому солдафону, обожавшему черкески с газырями, очень шло это прозвище.

Министра печати Прасолова называли Пря. Темный этот человек с морщинистым лицом склочника, редактор одной из провинциальных газет, неожиданно назначенный министром печати, пользовался особой любовью Юриных родителей.

— Пря поперла! — радовался Петр Александрович, когда по телевизору показывали выступление Прасолова. — Ишь, плюется! Глянь, Соня, — пля прюется!

Но пришло время, когда Юра захотел узнать больше. Одноклассники шептались о каких-то тарабарах. Жора Лызлов, важный сынок главного логопеда страны Германа Лызлова, показывал всем какую-то тетрадку — это были, как выяснилось, протоколы допросов. Когда к нему начинали приставать любопытные, Жора тетрадку прятал и надменно ронял:

— Мне папа дал. Он розыском всяких болтунов занимается.

Эти обрывочные сведения жутко занимали и волновали Юру. Фантазия рисовала мрачные казематы, горящие факелы, худых людей, прикованных цепями к стенам. Низкий столик, за ним сидит Герман Лызлов, о котором ходили страшные слухи: поговаривали, что он метит на пост генерал-прокурора. Но сейчас он занят. Жуткие черные тени скачут по стенам. Лызлов допрашивает болтунов. Это люди, прикованные цепями к стенам. Что они сделали? Почему здесь? Верно, сболтнули лишнее. Что с ними будет?

Запретная история страны не давала Юре покоя.

Он было пристал с расспросами к родителям, но реакция отца испугала его. Лицо Петра Александровича исказила гримаса, он придвинулся к Юре.

— Петя! — строго сказала мать.

— Откуда он узнал? — клацнул зубами Петр Александрович.

— Петя, он всего лишь ребенок!

Петр Александрович сильно взял Юру за плечи и встряхнул.

— Чтоб я больше ничего этого не слышал! Это сам Жорка болтун. Понял?

И он снова встряхнул Юру.

— Понял, — испуганно пробормотал Юра.

Потом были годы учебы в привилегированном Речевом корпусе, в котором получали образование только отпрыски из логопедических семей. Эти четыре года, проведенные в стенах Корпуса и наполненные непрерывной зубрежкой, Рожнов потом не мог вспоминать без дрожи. Преподавали в Корпусе сплошь страшные горбатые старики с ухающими голосами. Они заставляли повторять за собой разные правила. Собственно, учеба к этому и сводилась. Студентов приучали к мысли, что нарушения звукопроизношения — не болезнь, а проступок, за который следует суровая кара. «Давно отошли в прошлое времена, когда логопеды были врачами, — вешали преподаватели своими ухающими голосами. — Логопеды стали нормоблюстителем с тех самых пор, когда народ перестал обращать внимание на нормы. От нас, и только от нас зависит теперь спасение языка. Ибо народ не с нами. Народ — против нас!»

Здание Корпуса, построенное в незапамятные времена, было населено серыми, как пыль, тараканами и призраками бывших преподавателей. Саша Ирошников, который и здесь стал однокашником Юры, на полном серьезе рассказывал, что один такой, страшный горбатый старик с ухающим голосом, однажды целых два часа распространялся с кафедры о дизартрии, а когда прозвенел звонок, медленно растворился в воздухе. Рассказу нашлись свидетели, вскоре пол-Корпуса доказывало, что присутствовало на той лекции и видело призрака своими глазами. Рожнов истории не поверил, но оставалось признать, что это

было самое интересное событие за четыре года, проведенные в Корпусе. К концу учебы вопросы распирали Рожнова так, что он готов был задавать их птицам, деревьям, придорожным кустам. Запретная история страны не давала ему покоя ни днем ни ночью.

И ответ на его вопросы был наконец дан. Месяца за два до окончания Корпуса их начали готовить к церемонии присяги. Появились какие-то шустрые человечки в нелепых мантиях — церемониймейстеры Совета логопедов, которым было поручено «физически» подготовить студентов к присяге. Дни напролет Рожнова вместе с другими студентами заставляли ходить выпрямившись и вытягивая носок, потому что, по словам церемониймейстеров, осанка у будущих выпускников была ни к черту.

— Таких не только из Корпуса выпускать нельзя! — орал один. — Таких за ворота выпускать нельзя! Ты посмотри, как ты идешь! Ты идешь как старая бабка!

— Как развалюха! — орал другой.

— Как паралитик! — орал третий.

— Вы ходите как параличные бабки! — орал все трое.

— А ты? — орал первый. — Как фамилия? Рожнов? Что у тебя с лицом? Ты выглядишь так, словно съел лягушку!

— Гнилушку! — орал второй.

— Дохлую кошку! — орал третий.

— Ты выглядишь так, будто сожрал дохлую лягушку! — орал все трое.

Эти церемониймейстеры так измотали студентам нервы, что когда наконец настал день присяги, никто в это не поверил. С утра все выглядело так, будто сегодня ничего не произойдет. Кому-то сунули в руки метлу и заставили мести двор. Большая часть студентов без дела сидели в классах. На улице искрилось солнце, пели птицы. Тоска снедала студентов, тоска и неясные тревоги.

Вдруг по корпусам разнесся звучный удар гонга. Это было настолько неожиданно, что все повскакивали со своих мест. По коридору кто-то шел — медленные шаги при-

ближались к аудитории. В дверях выросла фигура ректора, профессора Восленского, пышнобородого, в огромных очках.

— Вставайте! — приказал он. — Ступайте за мной!

Вслед за ректором дошли до конца коридора и принялись спускаться по лестнице. Спускались долго — вот и первый этаж прошли, и сами подвалы, обследованные любопытными студентами еще на первом курсе, а лестница все вела вниз. Уперлись в низкую дверь. Ректор отомкнул ее ключом и вновь повел всех вниз по нескончаемой лестнице. Так они оказались в катакомбах. Об этих подземельях ходили смутные слухи — будто система подземных ходов ведет в самую Управу, будто здесь хранится библиотека Леонида Мезенцева, «первого из главных».

Правда оказалась страшнее. Их вели низким влажным подземным коридором. По обеим сторонам его располагались десятки ниш, в которых виднелись истлевшие тела.

— Это древние логопеды, — не оборачиваясь, пояснил ректор. Казалось, огонек его фонаря маячит где-то далеко впереди. — Традиция предписывает хоронить их здесь. Главных логопедов хоронят под Управой — там есть особые усыпальницы.

Неожиданно он остановился.

— И вы будете здесь погребены, — ровным голосом произнес он.

Рожнову было так же жутко, как и другим. Кто-то из студентов несмело спросил:

— А если я не захочу?

— Это традиция, — донесся голос ректора. Огонек его фонаря поколебался. — Вы не вольны выбирать.

Коридор вывел их в большой, освещенный сотнями факелов зал. Факелы держали в руках преподаватели Корпуса — множество седых сгорбленных стариков собралось здесь. Их было так много, что Рожнову показалось, что к собранию примкнули и давно умершие профессора. Стояла тишина, слышно было только потрескивание факелов.

В середине зала возвышалось изваяние богини Нормы, с книгой и мечом. Ректор приблизился к его подножию и повернулся к студентам.

— Новые логопеды! — торжественно произнес он. — Под этими священными сводами, помнящими клятву первых логопедов и главного из них — Леонида Мезенцева, основоположника нашего братства, — произнесете вы сейчас нашу клятву. Повторяйте же за мной!

И они хором стали произносить за ректором слова древней присяги:

— Клянусь богиней Нормой, повелительницей и правительницей, исполнять честно, соответственно моим силам и разумению, следующую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям и сыновьям своего учителя, но никому другому. Обязуюсь изо всех моих сил и стараний выявлять и пресекать случаи брадилалии, логоневроза, дизартрии, ринолалии, тахилалии, афазии. Все, происходящее в стенах этого братства, я буду хранить в тайне и передавать только своим детям и детям своих детей. Клянусь!

— Братья! — произнес ректор, когда последние слова присяги отзвучали под сводами зала. — Теперь вы имеете право знать. На это у вас уйдут годы. Что вам хочется узнать в первую очередь?

Новоиспеченные логопеды мялись и переглядывались.

— Что ж, братья, — произнес Восленский, кивая, — тогда слушайте. Я расскажу вам, кто такой Тарабрин.

Глава четвертая

У здания столичной логопедической коллегии было пять входов. Один, центральный, предназначался только для

работников коллегии. Другой, поменьше, рядом с главным входом, был устроен для курьеров и почтальонов. Третий, в левом крыле здания, предназначался для кандидатов. Он вел в узкую, длинную, как коридор, комнату без сидений, которая во все дни была битком набита кандидатами, ждущими своей очереди на комиссию. В правом крыле здания была устроена подъемная железная решетка, которая поднималась один раз в месяц, — то был вход для речеисправителей.

О пятом входе никто не знал, потому что это был вход для посетителей. Его постоянно переносили: то где-нибудь на задах здания переделывали окно в дверь, которую через пару недель заколачивали, то устраивали вход через пожарную лестницу, то через захламленный подвал, то через помещение охраны, куда пускали только по предъявлении особого документа — не паспорта, не водительских прав, не военного билета, не пропуска, не удостоверения личности, не служебного удостоверения, а особого, заверенного нотариально документа, форма которого была уже утверждена, но, как выяснилось на входе, еще не согласована соответствующим контролирующим ведомством.

Заблукаев внимательно следил за перемещениями входа и скрупулезно отмечал очередное его местоположение в специальной книжке. Он знал, что в один прекрасный день ему понадобится этот вход и времени на его поиски будет немного. За три дня до своего похода в коллегию он провел очередную рекогносцировку и узнал, что за день до этого вход опять перенесли. Теперь посетители могли попасть в здание коллегии только через окно на первом этаже. Перед зданием недавно начался ремонт теплотрассы, и вдоль фундамента была прорыта широкая и глубокая траншея. Через эту траншею была перекинута тонкая доска, которая упиралась в окно-вход. Прежний вход для посетителей был уже надежно заперт на огромный замок.

Заблукаев появился перед зданием Коллегии ровно в десять часов утра. Привычно обошел здание и уперся в

траншею. Доска еще была здесь — но где же вход? Заблукаев подбежал к доске. Так и есть — окно-вход на том конце доски уже начали закладывать изнутри кирпичом. В проеме виднелись равнодушные лица строителей. Работа шла споро — еще минут пятнадцать, и вход исчезнет.

— Подождите! — отчаянно закричал Заблукаев, маша папкой. — Пустите меня в здание!

Работы по заделыванию окна остановились, и строители уставились на Заблукаева.

— А где же ты раньше был? — недовольно спросил один.

На это у Заблукаева имелся ответ.

— Приемные часы! Приемные часы! — прокричал он, потрясая папкой.

Строителям крыть было нечем, но так просто они сдаваться не хотели.

— Да ты уже не пролезешь!

— Прелезу! — настаивал Заблукаев, ступая на прогибающуюся доску. — Тут еще для двоих место!

— Ну, лезь, — уступили строители и добавили насмешливо: — Только в траншею не сковырнись.

Заблукаев осторожно перешел траншею по шатающейся доске, стараясь не смотреть вниз, словно там была пропасть, и уперся грудью в полузаложенное окно. Оттуда ему протянули руку. Он сунул в эту руку папку и, кряхтя, полез в узкий проем. С той стороны ему помогали — тянули за руки, плечи и голову, довольно нелюбезно. Через некоторое время он оказался внутри, весь в пыли и известке.

В комнате, чем-то брошенном кабинете, было шесть строителей. Работали только двое, а остальные сидели на старых стульях в углу и играли в карты. Их старшой обратился к Заблукаеву:

— Кулево есть?

— Не курю, — гордо ответил Заблукаев и осведомился: — Куда идти-то?

— А ты выходи, там разберешься, — ответили ему.

Но едва он вышел, как дверь за ним захлопнулась, и он оказался в длинном, без указателей коридоре с рядами одинаковых дверей без номеров. Заблукаев, поразмыслив, пошел направо и вскоре вышел к некой приемной, где за печатной машинкой сидела секретарша и читала газету. При появлении Заблукаева она бросила газету и бешено застрочила на машинке. Заблукаев подошел к ней и откашлялся.

— Вы к кому? — резко спросила она, поднимая лицо.

— Я вот с бумагами... — начал он объяснять, показывая папку.

— Проситель? — оборвала она его. — С обращением?

— Да, но...

— Вам в двести восемнадцатый. На третьем этаже, налево.

Он поблагодарил и отправился искать лестницу, но в середине коридора вдруг остановился. Минуточку, какой он проситель? И не обращение у него вовсе. Он повернул обратно, и вовремя — секретарша торопливо собирала бумаги и уже собиралась улизнуть. При виде него лицо ее вытянулось.

— Извините, — сказал Заблукаев, подходя к столу. — Я вообще-то не проситель, а посетитель.

— С жалобой? — снова прервала она его. — Тогда вам в двести первый. Третий этаж, направо.

— Нет-нет. Не с жалобой. У меня предложение.

Ее лицо вытянулось еще больше.

— Давайте, что там у вас.

Он передал ей папку.

— Подождите здесь, — произнесла она кисло и, не глядяывая в папку, скрылась за дверью.

Он сел в свободное кресло и стал ждать. За дверью слышался какой-то разговор. Секретарша вышла, ни слова не говоря, села на свое место и принялась подкрашивать губы. Закончив, произнесла в пространство:

— Просили подождать.

Заблукаев кивнул. Нервная дрожь пробила его, еще когда секретарша скрылась за дверью. Теперь с дрожью невозможно было совладать — он весь трясся.

На столе у секретарши зазвонил телефон. Она взяла трубку и, меряя Заблукаева взглядом, принялась слушать. Заблукаев, сотрясаясь с головы до ног, ждал.

— Да, — говорила секретарша, глядя на Заблукаева. — Понятно. Нет, сидит. Нет, один. Сидит, ждет. Видела, конечно. Ну, просто бумаги. Не просто бумаги? Нет. Да. Хорошо.

Она положила трубку и зло проговорила:

— Входите, вас ждут.

И Заблукаев вошел. Много лет спустя он пытался вспомнить, как выглядел кабинет, — и не мог. Кажется, там был какой-то шкафчик с книгами и на нем чей-то бюст. Из памяти вылетело также имя-отчество разговаривавшего с ним. Александр Сергеевич? Александр Юрьевич? Или Михаил Юрьевич? Одно он помнил точно — человек был настолько заурядной внешности, что она не затрудняла взгляда. Сквозь человека можно было спокойно рассматривать интерьер комнаты. И голос его был пустой и ровный, как дуновение ветерка.

— Заблукаев, Заблукаев, — шелестел этот голос. — Конечно, конечно. Бывший студент, исключен за антиправительственную деятельность. Нигде не работает. Поступали сигналы на вас, очень неблагоприятные. Установлен надзор. Как, не знаете? Установлен, установлен.

— Где я?

— Где я, где я... — шелестел голос в ответ. — А где вы думаете? Это Четвертый департамент Коллегии. Мы вас прекрасно знаем. Хотели лично познакомиться, а вы сами явились. Похвально, похвально.

— Я хотел, чтобы вы извлекли уроки...

— Уроки, уроки... Какие такие уроки? Вы сами должны извлечь урок, Заблукаев. Впрочем, уже поздно. Что вы тут принесли? Бумаги, бумаги...

— Это не просто бумаги. Я хотел пролить свет... раскрыть злодеяния... речеисправители...

— Конечно, конечно. А зачем? Вы думаете, мы этим не занимаемся? Думаете, спим на рабочем месте?

— Нет. Я просто...

— Что вы просто?

— Я просто хотел стать логопедом.

— Вот как? Вы из логопедической семьи?

— Нет.

— Тогда почему дерзаете?

— Болею душой за язык. Посмотрите вокруг! Что делается! Враги проникли повсюду, вредители. Язык гибнет... Я...

— И вы поэтому решили стать логопедом?

— Хочу бороться. Знаю пути улучшения. Вот, видите, папка. Долгое время собирал. Там рассказы о жертвах. Десятки жертв. Это заговор!

— Заговор, заговор... И что же, логопеды не справляются? Так вы считаете? Некомпетентны, возможно?

— У меня и в мыслях не было...

— Тогда что же? Вы ведь сын учителя? Почему не учительствуете?

— Как вы не понимаете! Учителя задавлены министерскими циркулярами. Их роль хранителей языка, просветителей сведена к минимуму. Их авторитет ничтожен.

— Стало быть, поэтому вы пренебрегаете своим долгом?

— Мой долг — бороться с распадом языка!

— Откуда вы взяли, что язык распадается?

— Я это вижу.

— Это все глупости, Заблукаев, — прошелестел голос. — Пустые глупые выдумки. Сейчас мы вас отпустим. Но если вы, черт вас подери, еще раз рыпнетесь, если станете приходить сюда и требовать, чтобы вас приняли в логопеды, мы дадим вашему делу ход.

— Я просто хотел...

— Хотели, хотели... Вы просто хотели открыть всем глаза. Знайте — эти глаза открыты. Да-да, мы не сидим без дела. Мы замечаем все. Замечаем и принимаем меры. А вы — пустая трещотка, трепло балабольшое. Только наша крайняя занятость мешает нам передать ваше дело в прокуратуру.

— Но я ничего не сделал!

— Не прикидывайтесь дураком, Заблукаев. А в этой папке что? Кем вы себя вообразили? Пинкертоном? Ведете антиобщественный образ жизни, не работаете, вращаетесь в подозрительной компании. Расследование затеяли?

— Речеисправительные...

— Вы опять за свое, идиот. Знаете пословицу о сверчке и шестке? Так вот, если будете высовывать из своего сословия нос, вас по нему пребольно ударят. Потому что логопедами не становятся — ими рождаются. Поняли, Заблукаев?

— Понял. Папку разрешите?

— Папка останется у нас. Идите и позаботьтесь о том, чтобы мы о вас никогда больше не слышали.

На ватных ногах выполз из кабинета Заблукаев. Но испытания этого дня еще не кончились. Почти час не мог он выбраться из здания коллегии. Никто не мог указать ему выхода. Встреченные им только бормотали в ответ: «Выход для посетителей еще не утвержден» — и старались побыстрее прошмыгнуть мимо. Охранники на парадном входе криками погнали его назад, когда он попытался выйти через центральный турникет. Наконец изнуренный Заблукаев просто зашел в какой-то пустой кабинет на первом этаже и выбрался на улицу через раскрытое окно. Никто его не заметил.

Юбин встретил его сочувственно, вытащил откуда-то из-за печи закуску, налил стопку.

— Я те говорил, я те говорил, — приговаривал он.

— Что говорили-то? — очнулся Заблукаев, опрокинув стопку.

— Что Язык ты подведет.

— Не понимаю я вас, Фрол Иванович. Разве в языке тут дело? Они меня не пустили! Знай, говорят, свой шесток!

— Да именно что в Языке, дура! В одиночку-то кто против него борется? Вот такие дурни, как ты. Против него сообща надо. Глаза им раскрыть. Обнаружить, значит, Его.

— Да кого обнаружить-то, Фрол Иванович?

Юбин досадливо помотал головой:

— Я те, Левка, о чем последние недели талдычу? Пискунова-то, инженера, помнишь?

— Да при чем тут Пискунов ваш?!

— А я те скажу при чем. Ну-ка, смекни, против кого логопеды воюют?

Заблукаев задумался.

— Ну, ну? — подбадривал Юбин.

— Против болтунов?

— Та-ак, — расплылся в улыбке Юбин. — А почему?

— Потому что у них широкая поддержка населения?

— Во-от! А я еще ты душой называл! Голова ты, Левка! Именно что широкая поддержка. Любит, значит, наш народ родную речь. А теперь поразмысли-ка, что такое эта самая родная речь?

— Язык?

— Именно что Язык. Стало быть, против народа логопеды воюют. Против Языка. А Он совсем не такой, как в книжках. Он другой, Левка. Он стра-ашный!

— Да бросьте вы, Фрол Иваныч. Сказки все это.

— Это не сказки, Лева. Ой не сказки! Я сам его видел однажды. Хочешь, расскажу?

Но тут его перебили.

— Эй, челаэк! — слышалось из соседней комнаты, где уже шумело какое-то застолье.

Заблукаев встряхнулся, перекинул через руку салфетку, побежал на зов. В углу расположился какой-то военный.

— Чего изволите?

— Принеси-ка мне, дружок, закусок, грибков там, водочки, известное дело, да бараний зоб с кашей.

— Эйн секунд!

И Заблукаев привычно побежал услужать. Про Юбина и его разговоры он тут же забыл, зато перенесенная обида не проходила. И вдруг к вечеру, когда чад трактирный сгустился до невозможности, а от пьяных воплей ломило уши, Заблукаев вспомнил, о чем собирался рассказать ему старик. Бросился он в кандидатское отделение. Юбин уже мирно спал за печкой.

— Фрол Иванович! Фрол Иванович! — принялся тормошить его Заблукаев.

— А? Кому? — очнулся Юбин. От него уже ощутимо пахло. — Ты чего, Левка? — узнал он Заблукаева.

— Вы рассказать мне хотели про Язык!

— Чего? Какой праязык? Не было никогда никакого праязыка, это все логопеды врут.

— Да нет, о Языке, о Языке вы хотели рассказать!

— Спи, Левка! Спи, скаженная голова! Утро вечера мудренее.

— Фрол Иванович!

— Уймись, нуда! Дай отдохнуть рабочему человеку.

И Заблукаев ушел от него ни с чем. Лежа без сна в своей крохотной комнатке, которую он снимал неподалеку от трактира, он думал о словах Юбина. Как же это получается? Значит, любить родную речь плохо? А в старых книжках разве не родная речь? Неужели скоро по его душу придет Язык? Он вспомнил, что рассказывали ему про последние слова отца, и ему стало страшно. В ночи думать об этом было еще страшнее. Он постарался отвлечься, но слова отца не шли у него из головы. Вдруг ему показалось, что кто-то смотрит на него через оконное стекло. Заблукаев вскочил на ноги и быстро задернул занавеску. Нет, не может всего этого быть. Юбин себе все мозги пропил. Но откуда тогда все эти истории? Такое невозможно придумать. Ему вспомнился рассказ о Пискунове. Грамот-

ный инженер, прекрасный специалист, большая, судя по всему, умница. Пришел на завод и тут же объявил, что всех, кто говорит правильно, ждет прибавка к жалованью. Рабочие возмутились — говорящих правильно на заводе были единицы. Последовали одна за другой три стачки, во время которых производство полностью останавливалось. Однако Пискунов был непреклонен — он любил родную речь.

Но только стали замечать, что приходит на работу он бледный, с кругами под глазами. Кто-то подслушал под дверью разговор Пискунова с директором — и выяснилось, что по ночам Пискунова терроризирует Язык. Страшные глаза заглядывают по ночам в квартиру Пискунова. Бьются в окно, каркают какие-то странные птицы. Его стали одолевать кошмары — будто его рвут в клочки жуткие псы, из темноты прилетают черные слова-слепни и вонзаются в уши. Кончилось тем, что однажды нашли Пискунова в петле. Рядом лежала записка: «Я никогда не буду на тебе говорить. Желаю тебе поскорее отправиться к хеттскому». Все книги в квартире Пискунова были словно изгрызены бешеными собаками.

Нет, не мог быть жестокий деспот из многих рассказов Юбина Языком, на котором говорят все, на котором говорит тетя Валя, продавщица из соседнего овощного ларька. И, засыпая, Заблукаев твердо решил назавтра переговорить со стариком.

В трактире Заблукаев сразу почувствовал, что случилось что-то нехорошее. Половые его сторонились, никто не поздоровался. Из-за стойки манил его пальцем Диколаев. Лицо его было еще мрачнее, чем обычно. Заблукаев приблизился к нему, и у него вдруг начали слезиться глаза, потому что Диколаев смотрел прямо в них. Внутри у Заблукаева, непонятно в каком месте, возник легкий зуд, и он понял, что от страшного диколаевского взгляда чешотка распространилась на его душу.

— Ты что же это, — произнес Диколаев и замолчал.

Заблукаев стоял перед ним и не знал, что сказать. Так прошло несколько минут, после чего Диколаев покачал головой.

— К логопедам, говорят, ходишь, — вымолвил он.

— Я к ним с рассказами о речеисправителях... — начал Заблукаев.

— Тут приходили от дих, — перебил Диколаев. — Спрашивали про тебя. Пригрозили мде, — грустная усмешка появилась на его лице и мгновенно пропала.

Из Заблукаева рвались какие-то слова, он знал, что нужно что-то сказать, но не мог. Он только открывал и закрывал рот.

Диколаев полез под стойку, отсчитал несколько купюр и положил их перед Заблукаевым.

— Иди отсюда, — почти ласково приказал он.

И, убитый, Заблукаев, так ничего не произнеся в ответ, сгреб деньги и пошел от него. Когда он был уже у самых дверей, сзади его кто-то окликнул. Из комнаты кандидатов выглядывал Юбин и манил рукой. Заблукаев бросил взгляд в сторону стойки — Диколаев уже отвернулся.

Юбин был взволнован.

— Вона какие вещи творятся! — повторял он. — Вона какие!

— Фрол Иванович, — чужим голосом проговорил Заблукаев, — это правда?

— Правда, Левка, — закивал Юбин. — Как есть правда. Вона что творится! Я-то поближе подкрался, послушал, что они говорят. Ух, они тебя ругали! Переступил черту, говорят.

— Фрол Иванович, — перебил его Заблукаев, немного оживляясь, — я вас давно хотел спросить. Вот вы рассказывали о Языке. Помните? О Пискунове и других? Это правда?

Юбин выпрямился. Подслеповатые его глаза вдруг стали острыми и внимательными. Он схватил Заблукаева за руку.

— Ага! — прошептал он. — Понял, Левка? Что, приходил к тебе?

— Да нет, я не об этом. Откуда вы это взяли?

Но Юбина было не сбить.

— Хочешь побольше узнать, да? — придвинувшись, шептал он. — Да ты скажи, не бойся. Хочешь? Я ведь, Левка, это не с потолка взял. Я ведь с людьми общаюсь, люди-то не дадут соврать. Оне ведь, люди-то, приходят и рассказывают — кто сам, а кто о друзьях да близких. Но есть тут у нас один человечек... он не наш, я и сам не знаю, откуда он... он поболее моего знает. Вон он сидит, видишь?

Заблукаев обернулся и увидел у окна худощавого черноволосого мужчину с небольшой окладистой бородкой, в простом черном, будто монашеском, платье. Тот сидел за пустым столом и, похоже, кого-то ждал. Почувствовав, что на него смотрят, он перевел спокойный взгляд на Заблукаева.

— А ты подойди к нему, Левка, — подталкивал Юбин. — Не веришь? Уж он знает. Он те расскажет. Видишь, смотрит?

И Заблукаев послушался. Потом он часто вспоминал, что именно заставило его подойти к неизвестному человеку. Уж точно не Юбин. Словно жадное любопытство толкало Заблукаева к незнакомцу, у него было чувство, словно вот-вот он отомкнет тайным ключом какую-то заветную дверь. Мужчина спокойно дожидался, когда Заблукаев подойдет.

— Здравствуйте, — поздоровался, приблизившись, Заблукаев, и человек приветливо откликнулся:

— Здравствуйте!

Заблукаев мялся, не зная, с чего начать разговор, и человек помог ему:

— Вам нет нужды представляться. Мы прекрасно вас знаем. Вы занимаетесь речеисправителями, не так ли?

— Да, — с облегчением признал Заблукаев. Одновременно он поразился восхитительно правильной речи незнакомца.

— Вот видите, — сказал человек. — Мы даже знаем, что вы журналист. Да?

— Д-да, — с запинкой соврал Заблукаев.

— Вот видите, — повторил человек, спокойно его разглядывая. — Нам многое известно. Нас тут, в трактире, много. Независимых журналистов мы весьма жалуем. Меня зовут брат Палимпсест. Разумеется, это не настоящее имя. Кстати, вы ведь независимый журналист?

И Заблукаеву снова пришлось соврать:

— В общем, да.

— Вот видите, — сказал человек, улыбнувшись. Кажется, он и в самом деле был уверен, что никому, кроме независимых журналистов, не придет в голову заниматься преступлениями речеисправителей.

— Я, видите ли, хотел... Я знаю, что... — начал Заблукаев, но брат Палимпсест его перебил:

— Вполне могу себе представить. На какую газету вы работаете?

— Я... знаете, я...

— Конечно, знаем, — кивнул брат Палимпсест. Его спокойная уверенность изумляла Заблукаева все больше и больше. — Вы не хотите говорить. Что ж, дело ваше. Но, доложу вам, мы и это знаем. Вы работаете на эмигрантские издания, правда?

И Заблукаев с облегчением согласился:

— Правда.

— Вот видите, — сказал брат Палимпсест. — Вы не думайте, мы не легковверны. Но мы давно к вам присматриваемся. Ведь сначала мы думали, что вас заслали. Некоторые братья решили примерно вас наказать, но я попросил их немного повременить. Мне захотелось узнать, зачем вас заслали сюда, кто это сделал. А потом некоторые братья сообщили мне, о чем вы пытались их расспросить. О чем говорили на кухне. — Неожиданно он наклонился через стол к Заблукаеву и спросил, глядя прямо ему в глаза: — Вас интересует Язык? Не так ли?

— Д-да, это так.

— Вот видите. От нас не укрылось, какое впечатление произвел ваш материал на логопедов. Откуда они узнали, как вы думаете?

— Э-э... думаю, что им донес кто-то из трактира.

— Вот и мы так думаем, — кивнул брат Палимпсест. — Вам следует быть осторожнее. Что он вам сказал? — спросил он, кивнув в сторону Юбина.

— Сказал... сказал, что вы можете рассказать о Языке. Мне это очень интересно.

Брат Палимпсест победно улыбнулся.

— Да-да, — негромко заговорил он. — Это интересно очень многим. Вы не представляете, сколько людей вступает в наши ряды. Самые разные люди, из всех слоев населения. И всех их приводит к нам Язык. Он буквально затягивает их.

— Простите, — перебил Заблукаев в смущении, — можно ли спросить вас?.. Вот вы говорите: «мы». А кто мы?

— Братство лингваров, — ответил его собеседник.

— Так это вы! — потрясенно вымолвил Заблукаев.

— Да-да, — подтвердил с улыбкой брат Палимпсест.

— Но... простите меня, ваша речь... вы говорите совершенно правильно!

Брат Палимпсест добродушно рассмеялся.

— Вы скоро поймете, — ответил он, — что правильной или неправильной речи нет. Богиню Норму выдумали логопеды. Есть один бог — Язык, и он требует одного — чтобы говорили. Можно говорить даже без слов, можно — любыми словами, даже неизвестными. Главное — говорить. Потому что только это Ему любезно.

— И он... вы сказали, что он затягивает людей?

— Он уже владеет нами. Однако многие этого не понимают. Не понимают, что они уже пришли к Нему. Когда они это осознают — а Он спешит им напомнить об этом, — они приходят к нам, и тут им становится ясно, что делать дальше.

— Скажите мне.

— Вы хотите знать, что делать дальше?

— Да!

— Но признаете ли вы, что уже находитесь в Его власти?

— О да! Я почувствовал... кажется, почувствовал его недавно. Он стоял за окном.

— О, это изблюбленный Его способ. Он заглядывает в окна, присылает Своих посланцев. Он хочет, чтобы вы поняли. Он хочет, чтобы пали все барьеры на пути этого понимания. Он овладевает вами окончательно, потому что уже владеет вами.

— Барьеры — это логопеды?

— Да, они. Но их власть не от Языка и скоро падет. Они противостоят истине — и погибнут. Препятствуют могучему потоку — и будут смыты. Вы все еще хотите знать, что делать дальше?

— Да!

— Приходите завтра по этому адресу. — И он сунул Заблукаеву смятую бумажку. — Приходите! — повторил он с улыбкой и накрыл руку Заблукаева своей. — Вы будете поражены тем, что вам откроется.

С этими словами он поднялся, кивнул Заблукаеву и покинул трактир.

Впоследствии Заблукаев не раз возвращался мыслями к тому памяtnому дню — и дню, за ним последовавшему. Он снова и снова обдумывал причины, побудившие его отправиться на встречу с лингварами, — и приходил к выводу, что его привело туда любопытство, ничего больше. Заблукаев прекрасно осознавал свой талант публициста. Если и была в нем склонность к сочинительству, за рамки журналистики она едва выходила. Вернее сказать, он прекрасно знал, чего стоят его стихи и художественные рассказы, которые он временами пописывал. В его глазах они не стоили ничего, он именно пописывал их, не писал.

Но вот статьи... тут он был истов, тут он не ведал границ, какая-нибудь статейка, задуманная на полторы странички, вырастала у него до размеров послания граду и миру. Да, Заблукаев был осознанным публицистом.

Так и здесь — он просто почувствовал сенсацию. Ничего больше — в нем просто сработал инстинкт журналиста. Он решил затеять расследование — и бросился в эту затею безоглядно и решительно. Сознал ли он риски? Понимал ли, что в то время сам висит на волоске, что находится под надзором? Нет, приходил он к выводу долгие годы спустя, не сознал и не понимал. Вернее, сознал и понимал, но не желал всей серьезности этих рисков признать. Заблукаев был настоящим журналистом.

И он даже не был напуган, когда в тот вечер, уже ложась спать, снова почувствовал направленный на него из-за окна взгляд. Медленно приблизился он к окну. Да, его разглядывал кто-то невидимый — хищный взгляд бродил по его телу, ничто не могло от него укрыться. Сильная дрожь начала бить Заблукаева, но он не отходил от окна и так же упорно пытался разглядеть, кто же все-таки смотрит на него. За окном, кроме темноты, никого не было.

— Ты и за мной пришел? — спросил Заблукаев. Он хотел задать этот вопрос негромко и уверенно, но голос его сорвался, и он с неудовольствием услышал, что клацает от страха зубами, произнося эти слова.

Никто ему не ответил, но за окном кто-то точно был — взгляд бил в него, как некий невидимый луч.

Тогда Заблукаев задернул занавеску — трясущейся рукой.

На следующее утро он отправился по указанному адресу Палимпсестом адресу. С собой у него были блокнот и ручка — хотя он прекрасно понимал, что записать ему ничего не удастся. С ночи стоял легкий морозец, и худое пальтишко совсем не грело. Обмотав голову башлыком, Заблукаев время от времени останавливался и прятался в

подъездах от налетающего злого ветерка. Ему нужно было пройти до дальнего фабричного квартала, и он совсем продрог, когда, наконец, добрался.

Длинные старые облупившиеся дома выставили свои непристойные фасады на улицу, по которой брел, закутанный в башлык, донельзя замерзший Заблукаев. Никто не попался ему на пути. Неожиданно улица вывела его к разбитым вагонам, ржавым путям, кучам старых черных шпал — он оказался на задах какого-то древнего вокзала. Заблукаев сверился по бумажке — похоже, ему нужно было пройти вокзал насквозь. И он, поскользываясь, пошел по обледенелым путям. Доисторические паровозы, черные, угловатые, застыли там и сям. Попадались бараки — с выбитыми окнами, вывороченными дверями. На фасаде одного полуразрушенного здания красовалась надпись: «Слава путейцам!»

Дом, который искал Заблукаев, нашелся прямо рядом с вокзалом. Это было черное от копоти здание, просевшее на один бок. Окна двух первых этажей были заложены кирпичом. Сбоку прилепилась чумазая вывеска: «Зестяные работы». Заблукаеву нужен был подвал. Он вошел во двор дома, и длинный ряд ржавых брошенных автомобилей представился его глазам. Он посмотрел вверх — на балконах полоскалось прокопченное белье, слабо хлопало под порывами ветра треснутое окно. Пусто и холодно было в этом дворе.

Вход в подвал находился во втором по счету подъезде. В глаза бросалось, что подвал надежно закрыт железной дверью, в которой прорезан глазок — довольно необычно для подвальных дверей. Заблукаев несильно постучал, тотчас с той стороны кто-то глянул на него в глазок, и дверь со скрежетом отворилась. На Заблукаева со странной блаженной улыбкой смотрел молодой, коротко стриженный толстячок, одетый в мешковатую камуфляжную форму. Заблукаев, сбитый с толку этой улыбкой, поздоровался не сразу. Толстячок, не отвечая на приветствие, смотрел будто

бы сквозь него. Улыбка его стала еще шире. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из-за его спины не появился брат Палимпсест, который сердечно пригласил Заблукаева войти.

— Это брат Зумпф, — представил он молодого человека, открывшего дверь.

— Здравствуйте, — поздоровался Заблукаев.

— Абалабала калабала лабаласабала, — ответил брат Зумпф, странно закидываясь и заводя глаза.

— Он у нас все время молится, — с улыбкой пояснил брат Палимпсест. — Ну, идите за мной. Только голову нагните, тут низковато.

Это был самый обыкновенный подвал многоквартирного дома — с бетонными стенами, пыльными трубами, запахом заплесневелой сырости. По углам валялся давний мусор. Длинные темные комнаты переходили одна в другую, по мере продвижения по ним становилось все душнее. Настенные росписи, оставленные давно сошедшими в могилу озорниками, изображали стыдные части человеческого тела. Повсюду, обрамленная то сердечком, то пентаграммой, повторялась эзотерическая формула: «Витя + Маша = любовь», которую можно было бы принять за алхимическую, если бы рядом были даны точные пропорции того, сколько именно Вити нужно смешать с Машей, чтобы получить искомое. Заблукаев на какое-то мгновение задумался о том, что даже шепотка этой бесподобной субстанции может спасти мир, но тут брат Палимпсест остановился и пропустил его вперед.

Они оказались в комнате, которая разительно отличалась от прочих. Это был больших размеров зал, освещавшийся единственным окошком под потолком. Хотя трубы были и здесь, в зале царила необычная чистота. Чем-то он напоминал университетскую аудиторию — может быть, тем, что на трубах вдоль стен примостились люди в темных одеждах. Все они были поглощены чтением, некоторые раскачивались, закрыв глаза. Другие, вска-

рабкавшись по трубам до самого потолка, пребывали в неподвижности. Заблукаев в жизни не видел более странного места.

Но самое необыкновенное он углядел в темной глубине зала. Там стояла какая-то статуя, кажется, конная, изображение некоего животного — или так казалось. Заблукаев сделал шаг, чтобы приблизиться, рассмотреть поближе, но брат Палимпсест ухватил его за руку.

— Нет, брат, нет, — произнес он. — Тебе не время. Ты торопишься, брат. Идем, я представлю тебя.

И он вывел Заблукаева на середину зала. Множество взглядов скрестилось на Заблукаеве. Он был со всех сторон изучаем.

— Это наш новый брат, — объявил громко брат Палимпсест. — Он только пришел, он всего лишь жаждет узнать. Позволим ли?

— Кто ты? — спросили из угла, и Заблукаев понял, что вопрос относится к нему.

— Я... я... я хочу узнать про Язык, — проговорил он.

На это не последовало никакого ответа — ни смеха, ни хмыка.

— А если узнаешь? — спросил тот же голос.

— Я... поверю, — несмело ответил Заблукаев.

— А так не можешь? — спросили из другого угла.

— Не могу, — ответил Заблукаев уже тверже.

Настала мертвая тишина, только слышалось бурчание труб.

— Произнеси молитву, — потребовал у Заблукаева голос.

Заблукаев смешался. Чего угодно он ожидал, но не этого. Произносить молитву в собрании лингваров, молитву Языку? И тут он понял. Внезапное вдохновение озарило его.

— Чырыстара абара курушарам чум, — заговорил он, и голос его креп. — Агадым сыпурум тарабашар эргара жарака стыр бара. Марадар кашарам сторомар хычырам бара, агадым курушарам чум пыракам харакым бара!

Он закончил с необычайным воодушевлением. После паузы первый голос с ноткой одобрения произнес:

— Так мало кто говорит здесь — но говорил ты хорошо. О чем ты просил?

— О том, чтобы узнать, — ответил Заблукаев.

Брат Палимпсест спросил, поворачиваясь во все стороны:

— Позволим ли?

— Обернись, — приказал Заблукаеву первый голос. — Воззри в лицо истине.

И Заблукаев, понимая, что ему позволили разглядеть то, что находится в глубине зала, повернулся и напряг было глаза — но тут раздался шум, грохот, топот подкованных башмаков и в комнату с ревом ворвалась толпа вооруженных автоматами людей в непроницаемых шлемах и черной форме. Заблукаев узнал ломилицию — логопедическую милицию.

— Всем к стене! — раздался ужасающий крик. — Руки за голову! Соппротивление бесполезно!

Появление стражей порядка было встречено криком столь же ужасающим:

— Ломье! Гаси ломье!

И Заблукаев со страхом увидел, что лингвары быстро выхватывают из-за труб и перекидывают друг другу пистолеты и автоматические винтовки.

— Бросай оружие! — кричали ворвавшиеся.

— Гаси ломье! — вопили лингвары, щелкая затворами.

Заблукаев видел, как брат Зумпф, не переставая блаженно улыбаться, потащил из кармана что-то длинное и угловатое. Медленно лезла наружу рукоятка огромного пистолета.

— Стойте! — неожиданно для самого себя завопил диким голосом Заблукаев, поднимая руки. — Не стреляйте! Я логопед! Я логопед!

Брат Зумпф, сбоку от него, счастливо засмеялся, вытянул перед собой руку с пистолетом и выстрелил. В ответ

загрохотали очереди. Пули скакали по трубам, визжали и свистели вокруг Заблукаева. Он бросился на землю. Последнее, что он увидел, — брата Зумпфа несколькими очередями отбросило назад, он покатился по полу. Визги и крики повисли в зале. Всюду метались лингвары — и падали под пулями.

— Я логопед! Я логопед! — в ужасе повторял Заблукаев. Только тут он понял, что навел ломилицю на убежище лингваров.

Но ему дали шипованным ботинком под дых, и он потерял сознание.

Глава пятая

Петр Александрович Рожнов сначала не поверил тому, что его сын окончил Корпус и принес присягу логопеда. Он никогда не верил в то, что Юре это удастся. По его мнению, получение звания логопеда было делом слишком трудным для такого шалопаю, каким он считал сына. Каждый раз, узнавая, что Юра перешел на следующий курс, Петр Александрович вскидывал брови и удивленно качал головой.

Юру это раздражало. Отца он очень любил и стремился угодить ему во всем. Однако намеренную холодность Петра Александровича в отношениях с сыном — это появилось с Юриным совершеннолетием, — странное недоверие и даже неверие в Юрины силы преодолеть было нелегко. Юра чувствовал, что и сам отстраняется, принимает в разговорах с отцом такой же насмешливый тон. Его это мучило. Он не понимал, чем так провинился перед отцом.

А тот считал, что сын слишком легкомысленный, что он изнежен и не готов к трудностям жизни. Попросту говоря, Петр Александрович полагал, что Юра слишком молод для того, чтобы лицом к лицу встретиться с таким могущественным и изворотливым противником, как испорченный язык. О, старший Рожнов прекрасно знал, какие личины может тот надеть. Искореженный язык мог

явиться под видом бедной старушки, просящей отнестись к ее сыну-кандидату со снисхождением. Он мог ошеститься крестьянскими угрозами или очаровать прелестью молодой красавицы, пришедшей просить за мужа-кандидата. Немало, ох, немало искусов и опасностей поджидает логопеда — чего стоят одни крестьянские бунты, когда соображать надо быстро, когда, возможно, в одном белье потребуется выскочить в окно на сорокаградусный мороз и на коне скакать в соседнее селение, спасая свою жизнь. Готов ли на это его сын? Справится ли он с препятствиями? Петр Александрович был в этом далеко не уверен.

И одновременно другие, совсем противоположные чувства раздирали его. Видя, как подрастает наследник, он рвался защитить его от всех опасностей на свете, прикрыть грудью, оградить собой. Мир так жесток — не только к логопедам, но и к другим людям. Что предстоит изведать его ребенку? Сейчас в академиях такие настроения, эта дурацкая мода хождения в народ — не поддастся ли глупым влияниям Юра, устоит ли?

В конце концов Петр Александрович вызвал сына к себе и не подразумевающим возражений тоном объявил, что со следующей недели тот начинает службу в одной из столичных коллегий. Обо всем уже договорено. Он лично звонил Константину Васильевичу, встречался с Аполлинарием Александровичем. Все уже в курсе и дали свое согласие. Да, с понедельника же! Должность пока небольшая, но быстрое продвижение по службе гарантировано. Между прочим, он говорил также с Виктором Леонидовичем, хотя тот обычно не принимает посетителей. Словом, обо всем уже договорено.

Юра, сбитый с толку, особенно не возражал. Он не ожидал от отца таких решительных шагов. Ему казалось, что тот давно перестал интересоваться его делами. Ему, конечно, льстила перспектива такой работы, ведь многие его однокурсники, которым некому было составить протекцию, уехали работать в провинцию. Но и совесть его

глодала. Уже он начал замечать на себе косые взгляды, шепоток за спиной и появившееся прозвище «папенького сынка». В Корпусе и впрямь в последние годы распространились довольно либеральные взгляды. Хождение в народ стало повальной модой, им увлекались все — от сыновей управских логопедов до выходцев из рядовых семей. «Взгляни врагу в лицо» — так это называлось. Врагом был Язык. Это ему, вернее, носителям его, полагалось взглядывать в лицо. И неважно было, что некоторые взглянувшие в лицо возвращались другими людьми, говорившими на том самом языке, с которым им предполагалось бороться. Не выдержали — был им общий приговор. Так хождение в народ стало своеобразным тестом, подлинным выпускным экзаменом. Это было опасное и манящее испытание.

Юру оно тоже притягивало, но он и побаивался. Пути было два — отправиться пожить в деревню на месячишко (этакая невинная маскировка) и служба земским логопедом. Юра колебался. Его пугало неведомое, пугали отцовские рассказы о бунтах. Петр Александрович, словно нарочно, старался его застрашать, рассказать как можно больше скверных, темных подробностей. Поэтому Юру не увлек даже пример Саши Ирошникова, который однажды объявил о том, что едет работать земским логопедом. Провожали Сашу в путь шумно, все жутко напились, в том числе и Юра. Но последовать за Сашей не осмелился, хотя тот и звал.

Время на раздумья тоже кончилось. В понедельник, повинуясь приказу отца, Юра заступил в должность унтерсекретаря одной из столичных районных коллегий.

Приняли его хорошо — начальником Юры был давний знакомый отца. Работа была несложной — в обязанности входила подготовка разных анкет для кандидатов. Поначалу он даже находил в ней приятство. Каждый день к нему являлось множество людей — кандидатов, их поручителей, поверенных, родственников, друзей, — и со все-

ми он находил общий язык. Ему не грозило плохое с их стороны отношение — ведь он всего лишь готовил и заполнял анкеты, клеивал фотографии, собирал и проверял полноту представленных документов. Делал он это с улыбкой, легко, быстро — работа его нисколько не тяготила. Все ему было интересно — и кандидаты, и их поверенные, и родственники. Ему начала целиком приоткрываться ситуация с призывом кандидатов на государственные должности. Каждый день он выслушивал десятки историй — по долгу службы и просто так, когда огорченные люди делились с ним наболевшим.

К концу первого месяца он начал тосковать.

Оказалось, что каждый день на работе происходит одно и то же. С утра толпы людей ожидали его у кабинета. В основном это были одни и те же люди, новые лица попадались среди них редко. Все они просили его посоветовать, уточнить, ускорить. Многие очень хотели занять должности, на которые их призвали, но большая часть кандидатов явно тяготилась этим призывом и мечтала вернуться к привычному занятию — работе комбайнерами, сталеварами, кафельщиками, санитарями. Попадались среди них инженеры, врачи, юристы, аптекари, встречались люди творческих профессий — художники и модельеры, иногда даже члены писательских союзов. И все они покорно и безропотно ждали, когда он уделит им немного времени.

К концу второго месяца Юра осознал, что начинает потихонечку ненавидеть эту работу.

А ведь пришел он с намерением сделать карьеру. Снял отдельную квартиру, начал устраиваться. Кто-то из коллег при случае шепнул ему, что скоро освобождается местечко логопеда VI ранга. Но толпы у кабинета... но одни и те же измученные лица каждый день... Рожнова начало терзать это положение.

Тогда и пришло письмо от Саши. Тот, со свойственной ему чуткостью, как будто почувствовал на расстоянии, чем

тяготится Юра. Письмо было длинным, но дышало такой искренностью, таким веяло от него восторгом, что Юра впервые за долгое время почувствовал радость — и за друга, и за себя, что получил такое письмо.

По словам Ирошникова, дела у него шли успешно — он уже поставил речь двум деревням и съездил в дальнее большое село разведать обстановку. В селе этом родную речь за прошедшие годы исковеркали так, что Ирошников едва понимал, на каком языке с ним говорят. «Все, дружище, я заболел, — писал он. — Постановил себе обратить сих язычников. Веришь ли, они считают, что это я говорю неправильно. Ну, братцы, шалишь! Ужо возьмусь за вас!» Далее следовали описания местных красот, перечень видов представителей флоры и фауны, которых Саша собирался изучать, зарисовки деревенского быта.

Но не только описанием пасторальных пейзажей и своих естественно-научных занятий на свежем воздухе озабочился Ирошников. В письме был прямой призыв. «В соседнем уезде — знаешь? — недавно освободилось место земского. Жалованье небогатое, зато сколько простора для действий! Ей-богу, Юрка, я бы на твоём месте!.. Правда, приезжай, а? Да приезжай же ты, черт этакий! Нечего тебе в городе делать, деревня — вот где можно приложить усилия. Итак, жду тебя. Через неделю, понял? Все, никаких возражений. Через неделю».

Деревня. Раздольные поля, дубравы, запах сена. Избушки, телеги... как это... дровни. Посевная, жатва, борона, скирда. Мычание коров, недоеных. Рожнов закрыл глаза. Ему страстно хотелось в деревню. Встретаться с людьми, внимательно выслушивать их, выправлять огрехи их речи. Почему он сразу не последовал за Сашей? Ведь и отец начинал земским, так отчего бы не последовать по его стопам? Нет, не в скучном присутствии нужно тянуть чиновничью ляжку — там, там, в деревне, приобрести практический опыт работы с людьми! Он едва дождался конца рабочего дня. Кипа анкет скопилась на его столе: его воротило от треклятых бумажек.

Сразу после работы он помчался к родителям. Встретила его мать, обрадовалась, тут же накрыла на стол. Он не был в родительском доме уже месяц и удивился, насколько чужой показалась ему эта роскошная, уставленная старинной, тяжелой мебелью, устланная толстыми восточными коврами квартира. Мать живо расспрашивала его, интересовалась, как идут дела на работе. Юре разговор на эту тему был неприятен, он отвечал односложно и все оглядывался, ожидая, что вот-вот войдет отец. Наконец, не выдержав, спросил:

— А где папа? Я хотел с ним посоветоваться.

— Он у себя, — понизив голос, ответила мать. — Какую-то докладную готовит.

— А если я его отвлеку немного?

— Ну, попробуй. Хотя он последнее время даже ужинает у себя.

Юра прошел к отцовскому кабинету и осторожно стукнул в дверь. Не дождавшись ответа, растворил ее. Петр Александрович сидел за своим громадным столом. Скрипело перо, Петр Александрович, не замечая ничего вокруг, что-то бормотал себе под нос — проговаривал строчки. Он всегда так делал — не мог писать молча.

— Пап! — позвал Юра.

Петр Александрович, не оборачиваясь, поманил его рукой. Юра обошел стол и сел напротив. Петр Александрович метнул на него взгляд поверх очков и продолжал писать. Наконец отложил ручку.

— Что, проведать заглянул? — спросил он чуть насмешливо.

Юра кивнул. Ему захотелось обнять отца, но он тут же подавил это желание.

— Посоветоваться вот хотел, — произнес он.

— Ну, говори.

— Понимаешь...

— Постой, да ты поел уже?

— Поел, поел. Я прямо из-за стола.

— А, ну хорошо. Так что там у тебя?

Юра не знал, с чего начать.

— Ну, говори же! А то я к утру не закончу.

— Я, в общем, тут подумал и решил поехать в деревню.

Работа в коллегии не для меня.

Повисло молчание.

— Ты подумал и решил поехать в деревню, — сказал Петр Александрович.

— Ну, в общем, да.

— Работа в коллегии не для тебя.

— Да, в общем.

— Гм. И чем тебе не нравится твоя нынешняя служба?

— Скучная она. Каждый день одно и то же.

— И что, ты думаешь, в деревне тебя каждый день будет ждать приятное разнообразие?

— Ну, там более практическая работа. Прямо в гуще народной. Там, по крайней мере, я смогу выполнить свое призвание.

— Послушай меня, Юра. Послушай, ведь я много лет проработал земским логопедом и знаю, что такое жить, как ты выражаешься, в гуще народной. Ты ничего не добьешься. И знаешь почему? Потому что таких прекраснодушных романтиков деревня жрет с ходу, не давась. Ты оказываешься один в поле, натуральным образом один в натуральном поле, и против тебя — войско. И ты честно бьешься с этим войском, до последней капли крови и всегда — слышишь, всегда — проигрываешь.

— Почему проигрываешь? Мне вот Саша написал...

— Это Ирошникова сын? Я слышал.

— Да. Написал, что...

— Представляю, что за чушь он там написал. Сколько уже он там? Месяц? Два? Эта эйфория пройдет. Он писал про поля с реками? Про заливные луга? Зори? Скажи, он писал про зори?

— По-моему, нет.

— Он про них напишет. Он еще пришлет тебе пару писем, где опишет рассветы, волнующиеся поля ржи и прочую дребедень. А потом, Юра, он начнет писать совсем другие письма. О том, что у него не осталось времени на разглядывание пейзажей. Что его осаждают толпы недужных крестьян, принимающих его за фельдшера. Что его усилия напрасны и, как только он уезжает из деревни, там снова начинают говорить, как прежде. А потом, Юра, он совсем перестанет тебе писать. И вот тут нужно срочно — слышишь, срочно — ехать туда и спасать его. Потому что к тому моменту он либо запьет, либо будет близок к тому, чтобы пойти в сарай и удавиться.

— Ты говоришь это по своему опыту, папа?

— Да, черт подери, я говорю это по своему опыту! Если бы меня вовремя не перевели в город, я никогда не выбрался бы оттуда. Юра, поверь мне, — то, что ты делаешь сейчас, намного лучше. Ты быстро вырастешь по службе...

— Папа! Ты считаешь, что мы делаем напрасное дело?

— Кто «мы»?

— Логопеды.

— Нет, отчего же? Постой, откуда ты это взял? У меня и в мыслях не было это говорить. Мы делаем необходимое дело, Юра. Мы...

— Папа! Тогда почему ты препятствуешь мне? Почему ты в меня не веришь?

— Постой, Юра...

— Ты никогда не верил в меня. Я хочу трудиться. Хочу настоящей работы, а не бумажки переключивать. Почему ты думаешь, что я не справлюсь, папа? Я справлюсь!

— Что за чушь ты мелешь? Я в тебя не верил? Да я...

— Я хотел попросить твоего разрешения. Ты же понимаешь, что я мог бы этого не делать. Я мог просто поехать, и все.

Снова повисло молчание, на этот раз более продолжительное. Лицо Петра Александровича темнело на глазах.

— Настоящей работы захотел? — наконец проговорил он неприятным голосом. — В деревню, ага!

— В деревню, — не дрогнув, подтвердил Юра.

— Нет, мой дорогой! — взревел Петр Александрович, стуча по столу. — Настоящая работа — не в деревне! Крестьян поправлять — невелик труд. Ты в городе поработай, на окраине! Вот где работа! Видишь? — И он потряс стопкой бумаги перед Юриным носом. — Видишь сводки? Это мы получаем отсюда, из столичных районов. Там не хватает логопедов, потому что все, как ты, хотят в деревню — на травке попасться. А вот ты рабочих повыправляй — как, сдюжишь? Ну, отвечай!

Юра смешался. Он уже настроился на предстоящую встречу с Сашей, долгие вечерние беседы. Петр Александрович, видя его замешательство, зло рассмеялся.

— Вот поэтому я в тебя и не верил, — произнес он, близко наклонившись к Юре. — Теперь ты понимаешь? Езжай в свою деревню. Ведь на это, по твоим словам, тебе даже и моего разрешения не надобно. Что же ты сидишь? Давай! Но отныне ты по крайней мере перестанешь терзаться вопросом, почему я не верил в твои силы.

Юра вскочил. Невиданная прежде злость и решимость овладели им. Ему вдруг захотелось во что бы то ни стало осадить отца, изумить его, завоевать.

— Что ж, я пойду работать туда! Поеду на окраины. Что же ты вдруг замолчал? Не ожидал, да? Давай говори, куда мне ехать! Или думаешь, что я хочу тебя поразить? Ничего подобного! Я хочу настоящей работы, неважно где, но только не в коллегии!

Он своего добился — лицо Петра Александровича вытянулось, он сглотнул. Но уже через секунду принял непроницаемый вид

— Хорошо, — коротко произнес он. — Ты будешь отряжен в Цибиковский район. Станешь главным логопедом. Там уже три месяца никто не работает — никого найти не могут. Район сложный, год назад там закрылось

основное предприятие, где работало все трудоспособное население. Сейчас обстановка неблагоприятная, масса народу просто шляется без дела. Преступность высока. Правоохранительные органы делают, что могут, но твоя задача немного иная, хотя тебе работать в связке с ними. Ну как, не передумал?

Юра помотал головой. Внезапно во взгляде Петра Александровича что-то мелькнуло.

— Иди сюда, — приказал он.

Юра подошел. Петр Александрович притянул его к себе и крепко обнял.

Цибиково был одним из древних фабричных пригородов столицы, который вырос вокруг старинного нефтеперерабатывающего завода. Нескончаемые, тянулись бывшие промышленные зоны с их заборами, трубами, приземистыми корпусами из серого кирпича — давно брошенными, с зияющими выбитыми окнами. Дома здесь были такими же, их было не отличить от фабричных корпусов. Улицы серокирпичных многоэтажек сменялись кварталами старых барачных, давно предназначенных на слом, но не сносящихся по согласованию со столичными властями.

И районная логопедическая коллегия располагалась в одном из таких старых серокирпичных домов — первый этаж был полностью отдан логопедам. Рожнов вошел в пустой кабинет. В центральной коллегии предупредили, что ему, как главному логопеду района, положены два заместителя, которые пока не назначены за отсутствием желающих пробоваться на вакансию. Собственно говоря, в постоянном штате коллегии сейчас числились всего три человека, в том числе исполняющий обязанности главного логопеда, директор по снабжению, которого никогда не бывало на рабочем месте. Сотрудники — один ведущий логопед и один делопроизводитель — тоже вечно отсутствовали. Чем они занимаются, никто не знал, потому что, кроме них, в коллегии целыми днями никого не

бывало. Рожнов слышал, как в пустых кабинетах надры-
ваются телефоны.

Тут телефон зазвонил и у него. Он снял трубку:

— Рожнов слушает.

На том конце провода возник шум, похожий на суматоху. Несколько голосов одновременно и испуганно заговорили между собой. Он разобрал слова:

— Появился! — Он у себя! — Ну? Что говорит-то? — Я не могу, мне дочку из школы...

— Кто говорит? — отдельно произнес Рожнов.

Трубку на другом конце провода тут же бросили. Не прошло и десяти минут, как в кабинет ворвались запыхавшийся лысый мужчина и толстая женщина и разом заговорили, цвета улыбками:

— Юрий Иванович! Добро пожаловать! Мы в управлении были, вот не успели к вашему приезду!

— Я Юрий Петрович, — поправил их Рожнов суховато.

— А! — вскрикнул мужчина. — Юрий Петрович! Извините! Куликин, Альберт Иванович, исполняющим тут, пока вас... пока вы...

— Нехлюдова, Людмила Иосифовна, — перебив его, вступила женщина басом. — Ведущий логопед.

— Очень приятно. Присаживайтесь, — произнес Рожнов, ощущая себя главным. — Что же, Альберт Иванович... много кандидатов у вас тут?

Его новые подчиненные переглянулись.

— Да мы тут, в общем... — произнес Куликин и, вздохнув, замолк.

— Да мы их не видим уже который месяц, — уверенно произнесла Нехлюдова. — Начальства-то нет, подписывать некому. Вот они и не шлют.

Рожнов хотел спросить, кто «они», но проследил взглядом, куда указывает палец Людмилы Иосифовны. Палец указывал на новенькое здание через дорогу, прямо напротив коллегии, в котором даже незнающий мог с первого раза угадать райком Партии.

— Чем же они заняты? — с легкой насмешкой произнес Рожнов.

Подчиненные тут же угадали насмешку и, громким смехом поддержав ее, произнесли хором:

— Вопросы решают.

— А призывают кого-нибудь? Не знаете?

— Может, и призывают. Только мы предупредили, что принимать не можем — ждем начальства. Вот они и не идут.

Рожнов снова хотел спросить, кто «они», но понял, что кандидаты.

— Непорррядок, — произнес он значительно. Подчиненные закивали.

— Будем работать, — еще значительно прибавил Рожнов и оглядел их. На лице Куликина была написана готовность, на лице Нехлюдовой — незыблемая уверенность. Они оба Рожнову понравились.

Следом за ними зашла делопроизводитель Анна Егорова, небольшого роста, строгая, красивая.

— Анна Тимофеевна, — представилась она, опустив глаза. Рожнов восхищенно смотрел на нее. Куликин и Нехлюдова говорили что-то, но хотелось, чтобы вместо них говорила она. Но она молчала, опустив глаза.

— Будем работать, — повторил Рожнов, обращаясь только к ней. Она быстро глянула на него и тут же потупилась.

Когда они ушли, Рожнов принялся искать, где спрятан вход в тоннель. Тот обнаружился в дальнем углу: он был прикрыт массивной крышкой. Рожнов потянул за петлю, и крышка стала открываться с невыносимым скрежетом. Рожнов пошел искать фонарь и ключ, сразу же нашел их в нижнем ящике стола и по железной лесенке спустился в тоннель. Внизу оказался выключатель, Рожнов щелкнул им — зажглись мощные лампы под сводчатым потолком, и тоннель осветился в полную и немалую свою длину. Пол

был очень пыльный, но сухой. Пахло песком, по потолку змеились какие-то трубы. Рожнов оставил ненужный фонарь у входа и пошел вперед.

Пройдя метров двести, он уткнулся в ступеньки, поднимающиеся к небольшой двери. Он толкнул ее — дверь оказалась незапертой, — вновь поднялся по короткому лестничному маршу и очутился перед еще одной дверью. Она была большая, торжественная, кожаная, на ней красовалась золоченая табличка: «Чебаков Виктор Петрович, обер-секретарь». Вынув найденный в нижнем ящике стола ключ, Рожнов вставил его в замочную скважину и повернул.

Он чувствовал себя уверенно и знал, какой вопрос сразу задаст обер-секретарю.

Рожнов вошел в огромный кабинет и сразу же увидел самого обер-секретаря Цибиковского райкома. Виктор Петрович Чебаков с ехидной улыбкой поджидал его посреди кабинета, сунув руки в карманы брюк. Видимо, он услышал звук поворачиваемого ключа. При взгляде на эту улыбку Рожнов сразу же забыл, какой вопрос собирался обер-секретарю задать.

— Так-так! — громко произнес обер-секретарь вместо приветствия, разглядывая Рожнова. — Это кто же к нам пожаловал?

Рожнов тут же почувствовал себя учеником, вызванным к доске, и больших усилий ему стоило не вытянуться в струнку.

— Добрый день, Виктор Петрович, — старательно-сухо поздоровался он.

— Добрый день, добрый день, — с усмешкой произнес Чебаков. — Да вы проходите, проходите, не стойте.

Рожнов пересилил себя и опустился в кресло, на которое ему помахал рукой обер-секретарь. А тот утвердился у себя за столом и с преувеличенной любезностью спросил:

— Ну, чем, как говорится, могу?

Тут Рожнов вспомнил, о чем хотел спросить обер-секретаря. В самом деле, начать стоило именно с этого: идет

ли призыв кандидатов? В Партии наблюдается острая нехватка кадров, а Цибиковский район кандидатов не шлет. И Рожнов открыл было рот, чтобы задать этот вопрос обер-секретарю, как тот, продолжая усмехаться, вдруг спросил:

— Насчет кандидатов хотите спросить? Почему, мол, не шлем? А когда, говорите, вас к нам назначили?

— Вчера, — сконфузившись, зачем-то соврал Рожнов. Мерзкое чувство вызванного к доске ученика снова овладело им. Он поймал себя на том, что сидит на краешке стула.

— Ага, — сказал Чебаков и потащил из ящика стопку бумаги. — Вот, — сказал он, шлепнув ею перед носом Рожнова. — Вот списки. Смотрите.

Рожнов глянул — список был длинен: «Авдеев. Аврамов. Авраменко. Авсеев. Автандилов. Агапитов...» Он поднял глаза. Чебаков усмехался.

— Хотите знать, что это за список такой? — осведомился он. — А я скажу вам, что это за список. Это все кандидаты, призванные за последние четыре месяца. Двести двадцать три человека. Вижу, вы о чем-то меня спросить хотите?

— Где же они?

— Где же они! — с удовольствием повторил обер-секретарь. — Я скажу вам, где они. Большинство сидит дома. Пришлось их отослать обратно, потому что в коллегии никого не было. А на предыдущем заседании, при прежнем еще главном логопедом, девяносто семь человек были отосланы к речеисправителям. Сто процентов от числа всех кандидатов на тот момент.

Чебаков сделал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом.

— Ну, и что? — спросил Рожнов.

— Как это — что! — внезапно заорал Чебаков, вскакивая. — Вы считаете, что они картавят? Шепелявят? Цокают? А то, что они перспективные кадры, вы понимаете?

Где я кадры возьму?! С меня центральный комитет каждый день спрашивает! Звонят мне каждый день, названивают! А я что им отвечаю? Логопеды плохие, да? А теперь вас вообще нет — три месяца! — и призыв полностью остановился — значит, я плохой? Да? Чебаков плохой?!

— Подождите, Виктор Петрович, — попытался перебить Рожнов. — Но курсы-то они закончили?

Чебаков замолчал и вытаращился на него — Рожнов даже подумал, что сморозил еще одну глупость, и снова сконфузился.

— Как вас, значит, зовут? — спросил Чебаков. — А, Юрий Петрович! Вас, значит, сегодня только назначили? И вы сразу ко мне, да? Во как. Значит, Юрий Петрович, я вам скажу, как они закончили курсы. Из них там немтырей понаделали. Понятно вам?

— Как немтырей?

— Так немтырей! — опять неожиданно завопил Чебаков. В двери заглянула испуганная секретарша и тут же скрылась. — Немтырей, понимаете? Гу-гу, му-му! Был человек нормальный — стал немтырь! Девяносто семь немтырей! Вот к чему логопедия ваша привела!

Тут Чебаков, по-видимому, хотел выругаться, но сдержался, только издал несколько скрежещущих звуков.

— Ну, — сказал Рожнов, не зная, что сказать. — Ну, я сейчас тут... Я прослежу, вот что я хочу сказать.

Чебаков скептически смотрел на него.

— Ну, — повторил Рожнов, отчаянно пытаясь произнести хоть что-то. — Мы этот вопрос решим. Вы, значит, присылайте своих кандидатов.

— Чтобы вы их на речеисправительные отослали?

— Мы на них посмотрим, — примирительно произнес Рожнов. — Обещаю вам — все аспекты будут приняты во внимание.

— Слушайте, — сказал Чебаков. — Юрий Петрович, да? Значит, Юрий Петрович, вот что я вам скажу. Вы только заступили? А вы пройдитесь по району — чего тут сидеть? Пройдитесь, посмотрите.

— Пройдусь, посмотрю обязательно. А на что обращать внимание?

— А на людей. Просто гляньте, какие люди тут живут. Я вам прямо сейчас скажу, что за люди здесь живут. Сорный народ вокруг. Людишки сорные, понимаете? Мы-то чего хотим? Мы квалифицированных людей хотим, с качествами. А тут что? В общем, походите, посмотрите.

— Да я похожу, похожу.

— Нет, вы походите, походите! Послушайте, осмотритесь. А я пока посмотрю, кого можно призвать. Народ-то по домам не сидит, разбежался небось. Кроме того, нужны гарантии.

— Какие?

— А я вам скажу какие. Бойтся народ. Ведь хотят, Юрий Петрович, хотят люди работать в Партии. Воодушевлены павшим на них выбором. Так и говорят — хотим, Виктор Петрович, работать, хоть сейчас готовы выступить. А тут что получается? Идут они к вам, а вы их — раз, и на курсы. Ну а на курсах... Цепенюка-то знаете?

— Нет, как-то не доводилось.

— А вы сходите к нему. Тогда у вас вопросы и отпадут.

И Чебаков встал. Юра поднялся тоже, замаялся, не зная, что делать, направился было к выходу, но Чебаков с протестующим возгласом загородил ему дорогу и глазами показал на потайную дверь. От стыда Юра залился краской. Конечно! Какой логопед ходит обычными дверями? Со всем растерялся, ругал он себя, спускаясь в тоннель. Нет, вовсе не так представлял он себе визит в райком.

Одно было приятно — вечером домой его отвезла машина с личным шофером.

На следующее утро Рожнов отправился на встречу с главным речеисправителем. Машину он отпустил у здания коллегии и пошел пешком через весь район. Уже в конце улицы начались бараки. Они были такие старые и прокоп-

ченные, словно их топили шпалами. На порогах неподвижно сидели чудовищные бабы. Перед бараками отирались группки вороватого вида, старательно сутулящихся пареньков в черных кепках. При виде логопедской шинели Рожнова они нехотя расступались, но спина отчаянно зудела от их медленных наглых взглядов. В одном месте ему в затылок негромко сказали:

— Цего исесь, цувацок?

Он не обернулся и не ответил. Тогда сзади так же негромко, насмешливо засвистели.

Недобрый, коварный достался ему район.

Речеисправительные курсы помещались в сером здании без вывески, обнесенном высоким глухим забором. На единственных воротах был строгий пропускной пункт. Матерые охранники долго проверяли документы Рожнова, вертели их в руках, вглядывались в фотографию. Не доверчиво косились на шинель. Наконец пропустили. Он попал в здание.

Насколько был пустынен двор, настолько внутри здания было полно народу. Смирные потерянные люди сидели в коридорах, дожидаясь своей очереди в кабинеты, украшенные маленькими однотипными табличками. На каждой табличке стояла всего одна буква: «Л», «Р», «В», «Ш». Рожнов отметил, что в кабинет с табличкой «Р» очередь была самая длинная. Время от времени в коридоре показывались властные люди в длинных белых халатах, брали кого-нибудь из смиренных ожидальцев и куда-то уводили. Бредя за ними, ожидальцы тоскливо оглядывались.

Кабинет главного речеисправителя находился на втором этаже, в конце коридора. Рожнов постучал и, не услышав приглашения, вошел. Перед этим он приосанился, оправил шинель. Цепенюк представлялся ему огромным, лысым, лютым, с громоподобным голосом. Однако в кабинете сидел человек с плоским незапоминающимся лицом, одетый в грязноватый белый халат. Он был похож на

ветеринара. Маленькие его глазки с любопытством уставились на Рожнова.

— Иван Тарасович? — немного растерянно осведомился Рожнов.

Человек, поморщившись, кивнул, протянул руку, взял со стола дымящийся стакан с чаем и, не сводя глаз с Рожнова, громко отхлебнул.

Рожнов решил обойтись без вступления.

— Вам, наверно, уже сообщили о моем визите, — продолжил он, присаживаясь у стола.

Цепенюк в ответ утвердительно отхлебнул из стакана.

— Рожнов, Юрий Петрович, — представился Рожнов. Цепенюк без выражения смотрел на него, не отрывая стакана от губ. — Я вот зачем к вам, Иван Тарасович. Чебаков мне тут докладывает, что вы, то есть учреждение ваше, поставило под угрозу районный план призыва кандидатов. Имеются сведения, что никто из направляемых к вам кандидатов курсов не заканчивает, а становится... гм... немтырем. Есть какие-нибудь соображения?

Цепенюк осторожно поставил стакан на стол.

— Это кто говорит? Это партком говорит? — спросил он таким высоким голосом, что Рожнов от неожиданности чуть не подскочил на стуле.

— Партком, — подтвердил он, оправившись от потрясения.

Цепенюк полез в стол, вытащил оттуда какие-то бумаги.

— Вот акты проверок, — произнес он. Нет, такого голоса Рожнов положительно еще не слышал. — Нас регулярно коллегия проверяет. Вы то есть. Последний раз в июле проверка была. Тех самых девяносто семь человек проверили тоже... обоснованность решения по ним... и пришли к соответствующему выводу.

Рожнов придвинул к себе бумаги — то были какие-то написанные корявым почерком протоколы с многочисленными подписями, — поизучал их, ничего в них не понял, отдал обратно Цепенюку.

— И к какому же выводу они пришли? — спросил он.

— Решения по делам кандидатов вынесены правомерно, — заговорил Цепенюк, словно зачитывая протокол. — Речь всех девяноста семи кандидатов не соответствовала принятым нормам. Кандидаты были приняты на курсы, к ним применены известные речеисправительные методики. Сложность данных методик проявилась в первые же недели курсов. Кандидаты испытывали психологические и физические трудности с выполнением некоторых упражнений. Сказывалась выработанная в домашней и уличной среде долголетняя привычка произносить слова неправильно. Многие кандидаты просто не верили в то, что слово надлежит произносить иначе. Их приходилось переубеждать. Это обычная практика в речеисправительных учреждениях — терпеливо и настоятельно переубеждать, демонстрируя наглядные образцы. Необходимо подчеркнуть, что данные образцы не были должным образом восприняты речевым и мыслительным аппаратом кандидатов, что привело к психологическим срывам, умственным шатаниям, постепенному замыканию в себе. В результате мы были вынуждены признать, что кандидаты психологически не готовы к речевой перековке, им необходим отдых. После обследования кандидаты были направлены на лечение.

Рожнов пораженно смотрел на Цепенюка.

— Что, все девяносто семь человек были направлены на лечение? — выдавил он.

— Было принято решение направить на лечение всех замкнувшихся кандидатов, — произнес Цепенюк в ответ.

— Неужели всех? Но там почти сотня человек!

— В нашей практике встречались и более тяжелые случаи. К примеру, два года назад на лечение был направлен сто пятьдесят один человек. Впоследствии двадцать девять из них успешно прошли курсы.

Эта статистика ошеломила Рожнова.

— И вы считаете, что курсы успешно справляются с поставленной задачей? — воскликнул он.

Цепенюк, не дрогнув, ответил:

— В складывающейся ситуации курсы вполне отвечают поставленным перед ними целям.

— Иван Тарасович, — сказал Рожнов, помолчав, — а вы не думали, что это люди? Более того — кадры, призванные Партией?

Цепенюк победно молчал. Кажется, приведенные им цифры воодушевили его так, что ничьих доводов он был просто не в состоянии воспринимать.

— Гм, — сказал Рожнов, видя это. — Ну что ж. Вы мне покажете владения ваши?

Он поднялся. Цепенюк, не вставая, смотрел на него.

— Осмотреть хотите? — спросил он, словно не понимая Рожнова.

— Осмотреть. Осмотр, — подтвердил Рожнов.

— А комиссия? — спросил Цепенюк. Он не вставал.

Рожнов каким-то образом догадался, в чем дело.

— Я — комиссия, — успокаивающим тоном произнес он.

— А протокол составите? — дознавался Цепенюк.

— Протокол будет составлен надлежащим образом, — внушительно сказал Рожнов.

Цепенюк со вздохом поднялся, полез в шкаф, достал связку ключей.

— Ну, пройдемте, — произнес он.

На что нужны были ему эти ключи, Рожнов потом так и не понял. Дверей, запертых на замок, им не встретилось. Они вышли из кабинета, прошли по коридору, поднялись по лестнице на третий этаж и вошли в другой кабинет, где сидел лысый чернобородый человек в очках и тоже пил чай.

— Алексей Никитич, — обратился к нему Цепенюк, — к нам вот комиссия из коллегии. Найдется у вас минутка?

Бородатый укоризненно посмотрел на Рожнова, со вздохом поднялся, достал из шкафа непременно связку ключей и повел гостей по коридору. В конце его тол-

кнул незапертую дверь, и они оказались в большом зале, разделенном невысокими перегородками на несколько помещений. Там стояли столы, стулья, за столами сидели речеисправители в белых халатах, а перед ними горбились измученные люди в похожих на больничные голубовато-серых робах. Негромкие размеренные звуки носились по залу:

— Р-р-р... Ш-шина, ш-шина... Агррраррий, агррраррий... Л-л-лыжи, л-л-лыжи...

Из нескольких углов слышалось упорное щелканье языком, какое-то цоканье, другие плохо различимые звуки. Кто-то, заикаясь, повторял:

— Ч-человек ест ч-чебурек. Ч-чебурек ч-черствый... Д-доктор, я п-правильно п-произношу?

Бородатый Алексей Никитич, не обращая ни на кого внимания, провел их в дальний угол, где на длинной скамье сидели несколько человек в тех же сероватых робах. Лица у этих людей были примерно того же цвета. Сидели они, полузакрыв глаза, и похоже было, что в этом мире их мало что волнует.

— Вот, — глухо произнес Алексей Никитич, ни к кому особенно не обращаясь, — наши отличники. Показали прекрасные результаты. Скоро будут выписаны, получат дипломы и заступят на должности.

Сидящие не обратили на него никакого внимания. Некоторые едва заметно покачивались, словно медитировали.

— Здравствуйте, товарищи, — бодро обратился к ним Рожнов. — Ну, как успехи?

Его слова возымели действие — несколько человек приоткрыли глаза.

— Ста...ра...ем...ся, — по складам выговорил один, а потом повторил уже одним словом: — Стараемся!

— Хорошо, хорошо, — нарочито бодро произнес Рожнов, замирая от ужаса. Он чувствовал себя так, словно попал в психиатрическую клинику. — Ну а жалобы есть? Жалобы, предложения?

— Жжалоб нет, — проговорил другой отличник речеисправительной подготовки. — Предложжений тожжже.

— Гм, гм, — сказал Рожнов, топчась на месте. — Вот и чудесно. Правда, товарищи?

Отличники никак не отреагировали, зато стоящие рядом Цепенюк и Алексей Никитич сурово кивнули.

— Щебенка. Вещественный. Общаться. Щиница. Ищи-свищи. Щурок. Щекастый. Щемафор, — монотонно перечислял кто-то за перегородкой.

Рожнову едва не стало дурно. Больше здесь делать было нечего. Он торопливо пошел к выходу. Он просто не мог здесь больше находиться. Сзади поспевали недоумевающие речеисправители. У входа Цепенюк его нагнал, заговорил о чем-то, но Рожнов оборвал его:

— Кадры! Кадры!

Он сам не понимал, что говорит. У него вылетали какие-то слова, какие-то фразы, довольно угрожающие:

— Разбазариваете!.. Призыв застопорился!.. Ценнейший материал!..

Алексей Никитич вдруг вступил, сверкая стеклами очков:

— Как вы сказали? Вы по округе ходите, посмотрите, что за народ. Сорный народ!

— Вы мне это перестаньте! — вдруг неожиданно для себя фальцетом закричал Рожнов. — Их Партия призвала! Выделила!

Цепенюк хватал его за локоть, пытался вывести из зала в коридор. Рожнов вырывался.

— Это еще надо определить, кто тут сорный материал! — кричал он.

— Протокол! Протокол! — как заклинание повторял Цепенюк. Ему, наконец, удалось вытащить взъерошенного Рожнова в коридор. Там Рожнов вдруг остыл.

— Будет вам протокол, — произнес он, и речеисправители вдруг почувствовали на себе дыхание рока. Это им не понравилось.

— Да вы пройдите в другой зал, — приказным тоном произнес Цепенюк, звеня своими ключами.

— Нет необходимости, — оборвал его Рожнов. — Комиссия уже увидела все, что нужно. Вы будете уведомлены письменно.

— Нельзя же так, товарищ! — глухо произнес Алексей Никитич. — Если осматриваете, осматривайте все. Нам нечего скрывать.

Холодная ярость охватила Рожнова.

— Комиссия уже видела все, что требуется, — процедил он, повернулся и пошел к лестнице. Речеисправители остались стоять в коридоре.

Рожнов шагал по району, не замечая ни бараков, ни баб, ни вороватых пареньков в кепках. Собственно, это шагал по району уже совершенно другой, изменившийся человек. Несокрушимая уверенность владела этим им — он был уверен в том, что ужасное учреждение, которое он только что повидал своими глазами, стоит на пути талантливых выдвиженцев из народа. И другие мысли шевелились в душе этого человека, такие, что он боялся дать им выход. Но они медленно вызревали и всходили в нем. Они искали себе выхода, настоятельно требовали всестороннего обмозгования, не давали спать, и Рожнов сдался. Ночью, ворочаясь в постели, он пришел к выводу, что талантливым выдвиженцам из народа мешает и он сам. Он мешает выдвиженцам, он мешает языку. Да, он мешает Языку. И он больше не будет ему мешать.

Именно с той ночи он стал видеть сны — он играет с буквами, наливает им в блюдце молока и получает ласковый, одобрительный взгляд из темноты. Рожнов знает — это Язык.

Он знает, что гнев Языка его, Рожнова, уже не коснется.

Глава шестая

В заключении Заблукаев пробыл недолго — всего пять дней. Как объяснили ему сокамерники-лингвары, это была не самая страшная тюрьма Четвертого департамента, который чаще называли Тайным. На вопрос, какие же бывают страшные, ему отвечали кратко, что те, другие, совсем страшные — казематы. А эта — еще ничего, вегетарианская. И Заблукаев так и не признался им, что эта «нестрашная» тюрьма в первый день здорово напугала его. И лишь после того, как ему разъяснили суть вещей, ее толстые стены, железные двери с глазками, маленькие, забранные решетками окна перестали наводить на Заблукаева ужас и уныние.

Как оказалось, при рейде он чудом выжил. Кроме него, живыми взяли еще двоих. Знакомых среди них не было. Их рассадили по разным камерам, но уже к вечеру Заблукаев знал, что все остальные лингвары погибли. Сам дом был на следующий день, по выселении немногих оставшихся жильцов, взорван. Так милиция поступала со всеми пристанищами лингваров.

Лингварами тюрьма была переполнена. В одной камере с Заблукаевым их сидело шестеро. Тогда-то Заблукаев впервые осознал, почему их называют болтунами, — все шестеро одновременно, громко и практически постоянно молились. Уже к вечеру первого дня от их дружной глоссолатии у Заблукаева заболели уши. Утром явились надзиратели и забрали двух сокамерников Заблукаева. Больше те не возвращались, и он потихоньку возрадовался — шума стало меньше.

Первый допрос с ним проводил логопед V ранга Девель, пухлый, жизнерадостный, в очках. Заблукаев знал, что V ранг соответствует званию капитана, и сразу же начал обращаться к Девелю «товарищ капитан». Девель на это реагировал равнодушно — видимо, любовь к военной атрибутике в нем отсутствовала напрочь. Начав с формальнос-

тей — выяснения паспортных данных, принадлежности к партии, сословию, — он быстро перешел к сути.

Девель часто улыбался, и Заблукаев вскоре понял, что такова вообще манера разговора этого, по-видимому, незлобивого дружелюбного человека.

— Ну, Заблукаев, — говорил Девель, с улыбкой переводящая листы дела, — вам, надеюсь, не надо объяснять, почему вы здесь? Или надо? Ну, так я вам скажу. Вот данные надзора. Посмотрим. Ага. Так-так. Нет, надо же! — И он чему-то посмеивался, листая дело. Материалы его видимо забавляли. О допрашиваемом он, кажется, забыл.

Наконец Заблукаев не выдержал.

— Я не лингвар! — с мукой в голосе вскричал он.

Девель подпрыгнул и перестал улыбаться. На лице его появилась озабоченность.

— Да не волнуйтесь вы так, — произнес он. — Нет, правда не стоит.

— Я не лингвар, я попал туда по ошибке!

— Успокойтесь, Заблукаев, — прикрикнул Девель и тут же примирительно улыбнулся. — Никто не говорит, что вы лингвар. Нам это отлично известно. Разумеется, вы попали туда по ошибке. Вы вообще человек увлекающийся, любознательный. Нам это прекрасно известно. К тому же вы нам очень помогли — совсем, понимаешь, забыли, что находитесь под надзором.

— Тогда почему я здесь? — уже тише спросил Заблукаев, успокаиваясь.

— Могу сказать, что вы не проходите по обвинению в нарушении орфоэпического законодательства. Вы здесь по другой причине. — Девель сделал паузу. — Обвиняетесь вы в подрыве государственного строя, а это, дорогой мой, куда серьезнее.

Заблукаев без слов обмяк на стуле. Девель ободряюще улыбнулся ему:

— Да погодите вы переживать! Давайте все-таки поговорим. Скажите, сообщники у вас были?

— Сообщники в чем? — запинаясь, спросил Заблукаев.

— Как — в чем? Вы же собирались организовать протесты против речеисправительных учреждений. Оружие покупали?

— Я вас не понимаю.

Девель покрутил головой, негромко посмеялся.

— Я, кажется, на правильном языке говорю, — сказал он. — Вы собирали вокруг себя бывших кандидатов. Это очень взрывоопасный элемент. Они обижены на власть, особенно на речеисправителей. Вы ведь хотели их использовать, правда? Кто еще вам помогал?

— Товарищ капитан, у вас неверная информация, — горячо заговорил Заблукаев и вдруг, неожиданно для себя, перескочил на любимую тему: — Я давно этим занимаюсь. Болею душой за язык. Посмотрите вокруг! Враги проникли повсюду, вредители. Эти речеисправительные учреждения, они губят язык. Я хочу бороться, знаю пути улучшения. Собрал папку, представил ее в коллегию. Там рассказы о десятках жертв речеисправительных учреждений. Хотел уведомить, предупредить.

— А где же эта папка?

— Ее у меня отобрали.

— Кто? Лингвары?

— Нет, что вы! Это вы ее забрали, Четвертый департамент.

— Да? Когда же это произошло? Впрочем, неважно. Я, кажется, спрашивал вас, покупали ли вы оружие. Так покупали или нет?

— Товарищ капитан!

— Ну хорошо. Вижу, сегодня мы не договоримся. Встретимся-ка завтра, с утра. А? — И Девель весело подмигнул, захлопывая пухлую папку с делом Заблукаева.

Но никакого допроса назавтра не было. И на следующий день не было допроса. К тому времени всех сокамерников Заблукаева увели надзиратели. Он не знал, куда их

забрали, но установившаяся тишина вдруг стала тягостной. Он начал метаться по камере. Когда допрос? Куда их увели, что с ними стало? К еде он почти не притрагивался. Пустая камера вдруг показалась ему огромной, оставленные сокамерниками койки, казалось, вопиют. Медленные дни тянулись, никак не желая кончаться. А ночи были еще длиннее — без сна ворочался Заблукаев на жесткой узкой койке, прислушиваясь к каждому звуку. Что с ним сделают? Какие еще жуткие нелепые обвинения выдвинут?

На четвертый день его пребывания в тюрьме, утром, дверь его камеры наконец распахнулась. Заблукаев, растрепанный, небритый, больной, тяжело поднялся, и его повели куда-то. Все ему виделось словно в тумане. Навалилось тупое равнодушие. Если бы ему сказали, что ведут его на расстрел, он бы никак на это известие не отреагировал.

В кабинете ждал его улыбающийся Девель. Заблукаеву тут же принесли чаю с лимоном, печенье на блюдечке. Заблукаев всего этого не заметил.

— Ну что же, Лев Павлович, — бодро произнес Девель, сверкая стеклами очков, — мы вас не беспокоили, хотели, чтобы вы все хорошенечко обдумали. Да и повода не было. А вот теперь появился.

Заблукаев глядел на него без выражения.

— Мы тут провели небольшое следствие, все проверили, — продолжал Девель. — Между прочим, нашли вашу папочку.

И перед Заблукаевым появилась его папка, которую отобрали у него тогда в коллегии. Он протянул руку, раскрыл ее, медленно полистал: все его листы были на месте. Он поднял взгляд на Девеля.

А тот говорил:

— Вы, наверняка, отметили, с какой быстротой проведено следствие. А все потому, что мы с самого начала ошибались. Вас подозревали в организации заговора, сколачивания преступной группы. От имени всего департамента прошу прощения. Конечно, ничего этого вы не делали.

Девель замолк, ожидая реакции Заблукаева. Тот безразлично слушал.

— Вы делали все в одиночку, — произнес Девель, перестав улыбаться. — У нас есть неопровержимые доказательства. Вы хотели стать логопедом и, вопреки всем установленным правилам, попытались собрать компромат на известных лиц. Вы способный человек, Лев Павлович, способный и очень энергичный. Вы набрали кучу материала. Подтверждаете?

Заблукаев не пошевелился и не ответил. Казалось, он не слышит Девеля.

— Знаете, сколько лет вы под надзором? — задушевно спросил Девель. — Сказать вам? Да вы и так знаете. Материала на вас предостаточно. На две статьи. — он посмеялся над собственной остротой.

Заблукаев хрипло спросил:

— Меня посадят в тюрьму?

— В тюрьму? — живо переспросил Девель. — Этого я не могу вам сказать. Это у нас суд решает. Но я могу вам кое-что предложить.

Он с таинственным видом замолк.

— Что? — тупо спросил Заблукаев.

— Смотрите, — сказал Девель. — У вас, как говорится, есть выбор. Я могу передать дело в прокуратуру, и тогда вас ждет суд и приговор. Но есть и другой выход. Вы добровольно покидаете страну. С собой вы можете взять свое имущество, сбережения — словом, все что угодно. — Заблукаев встрепенулся, и Девель спешно закончил: — При условии, что вы окажете нам одну услугу.

После долгого молчания Заблукаев спросил:

— Какую?

Девель просиял, будто ему сказали комплимент.

— Вы нам поможете! — радостно произнес он. — Нет, не здесь. Там! Я поясню. Вы, наверно, слышали о тарабах. Это довольно разветвленная преступная организация, ее члены создали подполье практически в каждом крупном городе нашей родины. Мы боремся с ними, и доволь-

но успешно, но руководство этой секты остается для нас недостижимым. И лишь недавно мы узнали, что руководители секты скрываются за границей. Мы знаем, в какой стране, но точное местоположение нам не известно. Помочь нам выйти на этих людей мы хотели предложить вам.

— Но я никого из них не знаю! — возразил Заблукаев.

— Разумеется. Они сами выйдут на вас, когда узнают, кто прибыл в страну. Знакома ли вам фамилия Гоманов?

— Нет.

— По нашим сведениям, это главный человек в секте. Зовут его Романов, но он картавит и предпочитает, чтобы даже те, кто не картавит, звали его именно так. Нам известно, что он очень интересуется так называемыми ревнителями чистоты языка и уже привлек к своему движению нескольких бывших логопедов, бежавших за границу. Их, кстати, тоже хорошо бы разыскать. Он непременно захочет познакомиться с вами.

— Но с какой целью?

— Это нам не известно. Мы бы как раз и хотели выяснить, для чего Гоманов формирует группу из бывших логопедов. Какие-то цеховые тайны он уже узнал. Было бы интересно выяснить какие. В общем, вопросов здесь предостаточно. Кстати, Гоманов объявил себя Дуководителем, то есть Мессией, несущим Царство Истинного Языка. По нашим данным, не все тарабары ему поверили, но многие уже пошли за ним. Он отличный оратор, очень убедительный, прекрасно пишет, у него практически нет конкурентов внутри движения, так что распространение его влияния на всех тарабаров — лишь вопрос времени. Уже сейчас среди них ходят слухи, что за рубежом явился истинный Дуководитель, который скоро придет в нашу страну. Ну, что скажете?

— Я не знаю, — ответил Заблукаев, глядя в пол.

— Даю вам сутки на размышление, — произнес Девель, весело улыбаясь. — Думать будете в вашей камере. У меня создалось впечатление, что она вам пришлась по душе.

Ту ночь Заблукаев не спал. Отупение покинуло его, голова была ясной, спать не хотелось. Да и не мог он спать. То покрывался он испариной, то бил его озноб. Великое возбуждение охватило Заблукаева. Чем больше думал он о предстоящем ему выборе, тем больше склонялся к решению уехать. До этого Заблукаев никогда не думал об эмиграции. Он неплохо знал два иностранных языка, но за границей никогда не был и не ведал, как там устроена жизнь. Главное, не представлял он, как сможет устроиться. И совсем казалась отвратной ему идея работать на логопедов, шпионить, доносить. Вот если бы просто отправили его за границу, без всяческих условий... Нет, не желал Заблукаев идти на поводу у Девеля и ему подобных. И что-то подсказывало ему, что тягостное условие можно будет обойти. Кто станет приглядывать за ним там, за границей? Неужели приставят к нему надзирателя? Вот что необходимо узнать. Главное — ему позволят вывезти с собой имущество, а это значит — его книги и рукописи. Да-да, необходимо узнать подробности, детали.

Он едва дождался рассвета и вскоре уже колотил в дверь камеры. Его без промедления провели в кабинет следователя.

Девель широчайшей улыбкой встретил его согласие. Эта улыбка говорила: «А я, братец, ничего другого не ожидал». Он подвинул к Заблукаеву лист бумаги:

— Подпишите.

Заблукаев подписал. Девель убрал лист в папку, поднялся, протянул руку:

— Очень приятно было познакомиться, Лев Павлович. Остальное вам расскажут.

Следующий час Заблукаев провел еще в одном кабинете, где ему долго, в подробностях объясняли, что и как следует сделать. Заблукаев едва сдерживал нетерпение. Ему хотелось в Европу. Он почти не слышал, что ему говорят.

После инструктажа его посадили в машину и повезли домой. На сборы отводился час, но он управился быстрее. Тяжелее всего было упаковать рукописи — их почему-то не изъяли. Бумаги не умещались в объемистый чемодан, пришлось для верности перевязать его скотчем. Книг у Заблукаева было мало, и он не стал их брать: все прочитанное он держал в голове. Получалось, что, кроме рукописей и кое-какой одежды, другого имущества у него не было. Вот захлопнулась дверь, последний раз повернулся в замке ключ, который один из сопровождающих положил в карман. Вот сел Заблукаев в машину. Вот она тронулась на вокзал. Заблукаев уезжал. Неужели это на самом деле происходит? Он уезжает, навсегда. Стиснув руки, с колотящимся сердцем ехал в машине на вокзал Заблукаев.

В провожатые выделили ему недавнего выпускника Корпуса, молодого неразговорчивого человека по фамилии Пахомов. Для того это было первое задание, и Пахомов, по-видимому, вполне сознавал всю возложенную на него ответственность: он подозрительно оглядывал каждого приближающегося к его подопечному, шарил взглядом по сторонам и, кажется, в любую минуту ожидал нападения заговорщиков, замысливших отбить Заблукаева.

Этот Пахомов сразу понравился Заблукаеву. Они были ровесники, но разделяла их пропасть. Пахомов принадлежал к элитному сословию, касте. Заблукаев был изгой. С нежностью смотрел Заблукаев на Пахомова. Он мог поклясться, что видит того насквозь. Неисчислимы тревоги грызли Пахомова. Что-то там, за границей? На каком языке там говорят? Как добираться до посольства, куда надлежит сдать Заблукаева? Встретят ли их на вокзале — или придется объясняться с таксистами и просто незнакомыми людьми? Опять же, на каком языке? Хватит ли выданных денег? Говорят, цены в Европе высоченные. А суточных хватит ли? Удастся ли побегать по магазинам? И опять же — хватит ли денег?

Заблукаев, едва сдерживая улыбку, оглядывал Пахомова. Он хотел сказать ему: «Не волнуйся, все быстро образуется», но боялся спугнуть того раньше времени.

Купе у них было двухместное, комфортное. Ехать предстояло чуть больше полутора суток. Заблукаев сунул чемодан под сиденье, устроился у окна — и вдруг мысль о матери обожгла его. Образ ее так явственно встал перед его глазами, что он чуть было не удивился, увидев, что ее нет среди провожающих на перроне. Ему так захотелось, чтобы она там была! Но ведь не пригласили ее, даже не уведомили. Постойте, так она, верно, даже не знает, что он был в тюрьме! Он вскочил, заметался по купе. Пахомов насторожился.

— Что вы? — спросил он.

— Мать... Я хотел, чтобы она... — начал Заблукаев и замолк. Что толку? Это он о ней забыл. Все это время, проведенное в тюрьме, он не вспоминал о ней. А теперь поздно. Поникнув, он опустил на сиденье. Пахомов успокоился.

Поезд медленно тронулся.

Ехали молча. Пахомов читал отечественную прессу, внимательно, тщательно, словно для конспекта. Заблукаев думал. Он думал о будущей жизни. В нем медленно поднималось, зрело веселье. Он воскрешал в памяти слова языка, на котором предстоит говорить, с удивлением осознавал, что помнит многое. Время от времени опускал руку под сиденье, ощупывал чемодан. Ему не верилось, что рукописи выпустили вместе с ним. Им полагалось сгореть, а они вот — едут за границу. На радостях он заказал вина, предложил и Пахомову. Тот подозрительно взглянул на бутылку и заказал водки. Так и выпили каждый в своем углу и каждый за свое. А за что, ни один из них так и не узнал.

К границе подъехали ночью. Заблукаев открыл глаза, встрепенулся — после выпитого он задремал — и увидел в углу, возле двери, бессонного Пахомова. Водка не брала его обуянного тревогами организма. Дверь была открыта,

и Пахомов время от времени наклонялся и выглядывал в коридор. По темным вагонам шел паспортный контроль. Пахомов выпрямился и посмотрел на Заблукаева.

— Гляди у меня, — мрачно предупредил он.

Заблукаев глядел. С самого начала поездки он только и делал, что глядел. Но Пахомов не замечал, что Заблукаев глядит. Ему казалось, что предупреждения будет достаточно.

Таможенники дошли до их купе. Пахомов и Заблукаев предъявили паспорта. После недолгой проверки в этих паспортах появились красивые штампы с изящными буквами. Им разрешили въезд. Но Пахомова это, казалось, не удовлетворило. Он сорвался с места и в коридоре прилип к окну. Потом побежал к выходу, но и там, видимо, ждало его разочарование, потому что он вернулся поникший и тяжело опустился на сиденье.

Заблукаев с легкой улыбкой следил за ним. Он ожидал этого. Что-то ему подсказывало, что так оно и должно было случиться. Он видел Пахомова насквозь.

Их не встретили. По-видимому, их должны были встретить на границе и сопроводить до места назначения — но не встретили. Мало ли что было этому причиной. Главное — их не встретили. А это значило, что Пахомов должен сопроводить Заблукаева до посольства лично. Заблукаев чуть не рассмеялся. Он постелил себе и лег спать. Пахомов просидел на своем посту у двери до самого утра.

Утром Заблукаев проснулся и увидел у двери дремлющего Пахомова. Поезд медленно подползал к Северному вокзалу. Ночью пошел сильный снег и к утру успел засыпать все окрест.

Поезд остановился. Заблукаев бодро оделся, вытащил из-под сиденья чемодан и повернулся к выходу. Но на пути стоял Пахомов.

— Смотри у меня! — процедил он еще раз.

— Приехали, — сказал Заблукаев.

— Знаю, — сказал Пахомов, с тоской и ненавистью глядя в окно.

— Тогда пошли, — легко сказал Заблукаев. По коридору на выход спешили уже последние пассажиры.

Пахомов отодвинулся, взял свой чемоданишко и сказал, не глядя на Заблукаева:

— Чтоб рядом держался, понял?

— Разумеется, — улыбнулся Заблукаев.

Они вышли из вагона и направились через залитый огнями, красивый вокзал к выходу. Все с какой-то радостной отчетливостью виделось Заблукаеву. Он словно уже бывал здесь когда-то. Вот кафе: видны клетчатые скатерти на столиках, у стойки в ожидании посетителей болтают два официанта в передниках, на стенах — какие-то цирковые фотографии. И Заблукаеву казалось, что когда-то он уже сиживал в этом кафе, пил ирландский кофе, перекидывался словечком с официантом в переднике. Интересно, возникнет ли у него такое же ощущение в городе? Восхищенно озираясь, он ускорил шаг и тут же почувствовал тычок в бок.

— Тише иди, — прошипел Пахомов.

А ведь Заблукаев уже забыл про него. Пришлось заставить себя скрыть недовольство. Они вышли из вокзала и очутились на большой площади.

— Стой, — приказал Пахомов, вынул из кармана карту и углубился в нее.

Заблукаев в это время оглядывался по сторонам. Они стояли на скрещении трех улиц, сходящихся к вокзальной площади. Улицы были запружены медленно едущими по случаю снегопада машинами.

— Нам сюда, — сказал Пахомов и толкнул перед собой Заблукаева. Они перешли перекресток и пошли по одной из улиц. Пахомов на каждом шагу останавливался и сверялся с картой. Он что-то бормотал себе под нос, и Заблукаев по его раздраженному тону уловил, что идти им еще далеко.

Вскоре перед ними возник очередной небольшой перекресток. Они остановились в ожидании сигнала светофора, и Пахомов опять развернул карту. Рядом сиял отреставрированным фасадом какой-то дом, судя по виду, жилой. Большая арка с воротами виднелась неподалеку, в каких-то десяти метрах. Думал Заблукаев недолго — едва Пахомов углубился в карту, как он сорвался с места и помчался к этим воротам, прижав к животу чемодан. Миг — и он нырнул в арку и оказался во внутреннем дворе, уставленном машинами. Медленный мелкий снег опускался на этот двор и успел покрыть все тут так, что машины казались бесформенными белыми сугробами. Впереди виднелась такая же арка. Заблукаев стремительно добежал до нее, оглянулся и только сейчас заметил, как какая-то темная фигура вбегает во двор. Дальше он уже не видел — его ждал очередной двор, похожий на первый. Этот был засыпан снегом еще больше, даже протоптанных дорожек было не видать. Разметывая глубокий снег, Заблукаев ринулся на выход — и выбежал на ту же улицу, по которой всего несколько минут назад они шли с Пахомовым. В начале ее, он знал, располагается вокзал. Опрометью он бросился по тротуару и скоро оказался на привокзальной площади. Он не знал, бежит ли Пахомов за ним. Лавируя между ползущими на черепашьей скорости машинами, Заблукаев с чемоданом в обнимку перебежал улицу и влетел в здание вокзала. Едва ли он мог связно думать. За каких-то полминуты он промахнул весь вокзал и выскочил из другого выхода. Здесь такой площади не было: через улицу стояли кривые старые дома, обремененные снежными шапками. Прямо перед ним открывалась узкая улица, и Заблукаев нырнул в нее и долго еще бежал, пока не выскочил на какую-то маленькую площадь с темным силуэтом древней церкви. Старые черные деревья окружали церковь. Машин здесь почти не было, людей тоже. Заблукаев остановился, тяжело дыша. Чемодан превратился в неподъемный груз, он поставил его на землю и сам опустился на него.

Никто за ним не гнался. Счастливый, сидел Заблукаев на чемодане с рукописями, зная, что сбежал.

Два дня бродил он по незнакомому городу, стараясь держаться подальше от центра. Денег у него не было, не было и понимания, где их можно раздобыть. Ночевал он в церквях, которые здесь на ночь не запирались. Внутри было холодно. Он ничего не ел. Утром второго дня ему внезапно стало плохо. Вернее, ему стало нестерпимо холодно, он понял, что сейчас упадет в снег. Но он нашел в себе силы и дальше брести по улице, хотя толком не знал куда. Все эти дни он не выпускал чемодана из рук и сейчас из последних сил волочил его по земле. Снег продолжал валить: в Европе выдалась самая снежная зима за последние тридцать лет. Заблукаеву стало дурно, он присел на какие-то ступеньки. У него потемнело в глазах, и вдруг из этой темноты надвинулись на него две громадные фигуры, облаченные в бесформенные шубы. Они остановились подле него, и он понял, что сейчас его либо прирежут, либо ограбят, вырвут из рук бесценный чемодан. Он попытался крикнуть, но потерял сознание.

Двое балканцев, подобравшие его, жили неподалеку в большой бестолковой квартире, где, кроме них, обитали еще с десяток человек. Квартиру снимали всей ватагой. Тут были студенты, разнорабочие, нелегальные иностранцы. Сердобольные балканцы притащили бессознательного Заблукаева вместе с его чемоданом в свою комнату, бросили на лежанку и забросали громадными шубами. Заблукаев полностью скрылся под этими волнами теплого животного меха. Он пролежал так в забытии до вечера.

А вечером те же двое вернулись откуда-то, сделав свои неизвестные дела, и откопали Заблукаева. Они очень обрадовались, обнаружив его живым и голодным. Заблукаеву действительно полегчало, могильный озноб почти прошел. Его усадили за стол, напоили душистой сливови-

цей, накормили горячим мясным супом, и Заблукаеву стало хорошо. Его потянуло в сон. Та же лежанка и те же шубы уже ждали его. Он заснул в этой меховой берлоге глубоким, теплым сном.

Наутро его новые друзья растолковали ему, что нужно делать, и показали дорогу к полицейскому участку. За ночь намело монументальных сугробов. Таких Заблукаев не видел даже на родине. Люди двигались по протоптанным узеньким дорожкам, потому что снегоуборочная техника, не приспособленная к таким зимам, вся увязла в снегу. А он, снег, все валил с небес равнодушно и мерно.

В полицейском участке Заблукаева, не удивляясь, выслушали и записали всю его историю. На самом деле полицейские очень удивились — потому что Заблукаев говорил на их языке очень хорошо, — однако виду не подали. Ему определили адрес на тот срок, пока факты по его делу будут проверяться. Заблукаева спросили, кто он по профессии.

— Журналист, — ответил он.

Полицейские, не удивляясь, записали и это. На самом деле они очень удивились — потому что никогда не видели журналистов «оттуда», — однако виду не подали. Ему дали адреса учреждений, где можно было оформить временное разрешение на работу, встать на учет и так далее. Отдельно ему записали адрес, который, как прибавили полицейские, «может быть вам интересен». Они пояснили, что это адрес одного издателя, который печатает здесь газеты на родном языке Заблукаева.

— Это совсем недалеко, — добавили полицейские и показали адрес на карте.

Первым делом Заблукаев решил перетащить пожитки в квартиру, которую ему выделили. Он хотел поблагодарить гостеприимных балканцев, но в их громадной бестолковой квартире никого не было — обитатели ее разошлись по каким-то своим неизвестным делам. «Заскочу как-нибудь вечером», — подумал Заблукаев, стаскивая тяжелый чемодан по длинной лестнице.

Ему выделили крохотную квартиру в старом, скрипучем трехэтажном доме, под самой крышей. Тут была одна комната, туалет и крохотная кухня. Единственное окно выходило на окрестные дома, такие же старые, некрашенные. Внизу был узкий, колодцем, дворик, там стояли две скамейки, по самые спинки занесенные снегом. Мебель в квартирке тоже была очень старой. Особенно выделялся массивный, красного дерева, с завитушками шкаф. На стенах висели картины — репродукции Вермеера. Была и посуда: на кухне он обнаружил пару тарелок, три ложки, нож, вилку, открывалку для бутылок, кастрюли, сковородку. Была даже старая кофеварка. Нечеловеческая радость нахлынула на Заблукаева. Он не верил глазам. У него была своя квартира.

Остаток дня Заблукаев провел в хождениях по учреждениям и социальным службам, а вечером отправился по адресу издателя, который ему дали в полиции. На всякий случай он взял из чемодана целую кипу своих статей. Сначала он хотел отобрать три, но их было так много, и все такие хорошие. Некоторыми он даже гордился. Так, с перевязанной шнурком пачкой бумаги и картой в руках, он отправился на поиски.

Ему пришлось изрядно попетлять, прежде чем он нашел нужный адрес. К тому времени улицы совсем опустели, только празднично светились фонарики у дверей баров. Снег повалил пуще прежнего. Издатель жил в коротком переулке, который состоял всего из трех домов и громко назывался улицей Приснодевы Марии. Здесь было безлюдно. Вдоль другой стороны улицы тянулась низкая белая стена, за которой виднелись заснеженные кресты и надгробия. Три темных дома стояли вплотную друг к другу, как бы плечом к плечу. Номер был только на одном — том, что с дальнего края. Именно этот дом, как оказалось, и нужен был Заблукаеву. Он подошел к двери и увидел кнопки с фамилиями. В полиции ему дали номер квартиры, но на кнопках были только фамилии, без номеров.

Заблукаев наудачу толкнул дверь и увидел, что она не заперта. Он стал подниматься по широкой лестнице с толстыми перилами. Пахло кошками. Нужная дверь оказалась на третьем этаже. Он позвонил. Никто долго не открывал ему, и он принялся разглядывать другие двери. Всего на площадке их было три. Он приблизился к одной, чтобы разглядеть фамилию на кнопке звонка.

— Что вам угодно?

В проеме открывшейся двери стоял старик. Он был худ, сутул, совершенно сед, из-под нависших белых бровей смотрели острые глаза, злой рот кривился. Перед Заблукаевым стоял известный Дементий Андреевич Горфинкель, редактор газеты «Прави́ло», один из самых яростных критиков режима логопедов. Юрист по образованию, Горфинкель был вынужден заняться журналистикой, когда тридцать лет назад его выслали с родины. Там Горфинкель, работник юридического департамента Министерства культуры, был одним из первых, кто осмелился выступить против поправок к грамматическим нормам. Его статья «Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать», ходившая по рукам в списках, была первой ласточкой в долголетней войне логопедов и Министерства образования. Горфинкель и сам не помнил, сколько на его веку усылали в отставку руководство Минобраза, но каждый раз наверху находился кто-то, по чьему указанию все отставники оставались на своих местах. Эти игры продлились бы еще долго, если бы Горфинкель не назвал вещи своими именами.

«Партии косноязыки, — писал он. — Намеренно косноязыки их программы, их председатели, их члены. Партия — любая партия — стремится к тому, чтобы изуродовать язык в своих интересах. Именно так можно прийти к власти. Правильной, грамотной речью ничего не добьешься. Необходимо прибегнуть к самому темному, самому путаному, самому сумбурному языку, желательно смешанному с просторечием, чтобы достичь такой про-

тивоестественной цели, как власть. И наша Партия прекрасно это понимает. Она заинтересована в использовании искаженного языка, потому что на таком языке говорит народ. Со всеми выпрямителями, исправителями, очистителями языка она борется, потому что выпрямленный, исправленный, очищенный язык ей не понятен. Он не понятен ей потому, что неясно его предназначение. Такого языка не понимает народ, на таком языке пишутся книги, его использует интеллигенция. Этот язык не нужен и вреден. Следовательно, его нужно исподволь, настойчиво, хитроумно и деликатно искоренять. Делать это следует потому, что такой язык — враг народа и власти».

До этой статьи Горфинкеля терпели. В конце концов, он, как и логопеды, выступал за правильную речь. Но после того как статья в тысячах списках распространилась по стране, его вызвали в центральную коллегию и предложили на выбор — либо сесть, либо уехать. Он пытался аргументированно спорить, и тогда ему объяснили: ты сюда не за проповедь чистоты языка попал. Ты тут за свои лживые измышления о каких-то войнах между Партией и логопедами. Заруби себе на носу — народ, Партия и логопеды едины, и цели у них одни. Нужно только преодолеть некоторые погрешности в языковом развитии. Ты крепко себе это на носу заруби.

Он зарубил. За границей Горфинкель опубликовал эту и множество других статей, основал газету, издательство, труды его были напечатаны в переводах на большинство европейских языков, на них ссылались как на яркое свидетельство борьбы одиночки против режима.

Но ничего из этого Заблукаев не знал.

— Что вам угодно? — повторил Горфинкель, взглядываясь в позднего гостя.

Заблукаев начал сбивчиво говорить что-то о том, что он только что приехал, сбежал из страны, что он журналист и ищет работу, — но острые глаза Горфинкеля уже вонзились в пачку бумаг в заблукаевских руках.

— Войдите, — произнес он и пропустил посетителя в квартиру.

По сути дела, квартиры Заблукаев не увидел. Увидел он только горы бумаги. В нескольких комнатах угадывались в темноте высоченные стопы, связки, папки. Свет горел лишь в одной комнате — и освещал опять бумагу, рукописные и машинописные листы, исчерканные гранки, перевязанные тесемками папки. Здесь Горфинкель жил, здесь, на старом диване (единственном предмете мебели, не заваленном рукописями), спал, здесь делал газеты.

Походя смахнув пачку листов со стула, Горфинкель махнул рукой, приглашая Заблукаева садиться, остановился посреди комнаты и отрывисто спросил, продолжая бурить взглядом пачку заблукаевских статей:

— Что там у вас?

Заблукаев отдал ему бумаги, и Горфинкель немедленно, отойдя к столу, стал читать. Читал он долго, шелестел страницами, чему-то хмыкал. Наконец он оторвался от статей. Взгляд его потеплел.

— Минообразный язык, говорите? — спросил он отрывисто.

— Понимаете... — начал Заблукаев.

— Понимаю, — оборвал его Горфинкель и вдруг захохотал. Эти приступы внезапного хохота снижали Горфинкелю славу сумасшедшего старика, и он очень эту репутацию ценил.

— Вот что, — сказал он, закончив хохотать и в упор глядя на Заблукаева, — приходите-ка с утра. Как вас зовут?

Заблукаев назвался.

— Ну, чего там Павлович, — отмахнулся Горфинкель. — Вот подрастете — станут вас по имени-отчеству величать. А пока попробовать вас нужно. Сколько рукописей удалось привезти?

— Целый чемодан.

— Большой?

— Большой.

Горфинкель презрительно покачал головой:

— Одурели они там совсем. В мои времена такого бы не позволили. Пропустить целый чемодан рукописей! Ну, расскажете все завтра, а сейчас мне нужно работать.

— Так вы меня берете? — спросил Заблукаев жадно.

Горфинкель метнул в него испепеляющий взгляд.

— Это что за разговоры! — крикнул он. — Приносите завтра ваш чемодан. Я буду вас читать!

Глава щедьмая

«Полядок».

Вот как писать нужно! Рожнов еще раз с удовольствием пробежал глазами готовое представление в Исправительный комитет Управы, подмахнул его и завизировал личной печатью. В комитете проблем не ожидалось: председателем недавно был назначен Николай Теплов, одноклассник Рожнова и такой же сторонник языковой реформы. За последние два месяца еще ни одно представление от Рожнова или другого члена Совета логопедов при Высокой Управе не было отклонено Исправительным комитетом. После комитета представление шло в Министерство образования, где становилось циркуляром. Циркуляр направлялся в школы.

Членом постоянной проверочной комиссии Рожнов проработал два года. Это были годы чередовавшихся малых побед и поражений — противодействуя друг другу, Рожнов и Страхов тянули кандидатов каждый в свою сторону: один — в Партию, другой — на речеисправительные курсы. А потом произошло ожидаемое: скончался Бронислав Сусоров, бывший министр обороны, которого за год до этого избрали генерал-прокурором. Сусоров был компромиссной фигурой, избранной на пике оголтелой борь-

бы за власть между двумя управскими фракциями. Во главе одной стоял Виталий Мезенцев, главный логопед страны и выходец из семейства Мезенцевых, потомственных главных логопедов. Другую фракцию возглавлял член Управы Валерий Павлов, министр юстиции, которого поддерживала Партия. Подковерная борьба продолжалась почти месяц, пока генерал-прокурором не избрали Сусорова, который устраивал всех. Дряхлый и больной, он даже не мог присутствовать на заседаниях Управы и почти все время проводил в Особой клинической больнице. Фактически страной управлял помощник Сусорова, полковник Якунов, близкий Мезенцеву. Главный логопед многим и виделся самой логичной кандидатурой в качестве преемника Сусорова. На него возлагала надежды наиболее консервативная часть логопедов — те, что выступали за ужесточение орфоэпического законодательства, чистку своих рядов от либералов и сторонников языковых реформ. Как логопед Мезенцев был известен в качестве жесткого противника изменения законодательства. На посту главного логопеда страны он прославился тем, что сумел отправить в отставку Стукалова, тогдашнего министра образования, который много лет был костью в горле у логопедов. Более того, Мезенцев добился возбуждения уголовного дела против Стукалова по факту превышения должностных полномочий. Это снискало Мезенцеву репутацию душителя-ультраконсерватора среди либерально настроенных логопедов и вызвало восторг в консервативной среде. Мезенцев был назначен главой правительственной комиссии по организации и проведению похорон Сусорова, что практически определяло исход выборов нового генерал-прокурора.

Однако за день до похорон пятидесятидевятилетний Мезенцев скоропостижно скончался в своем кабинете от сердечного приступа.

Мало кто осознал тогда, что страна оказалась на распутье. Очень немногие знали, что в Партии и среди логопедов

дов царит раскол, что наверху идет лютая борьба кланов и фракций и что разброд и шатания укоренились в самых трезвомыслящих головах. Разумеется, знало об этом партийное руководство, знали и высшие чины логопедов. В числе таких немногих суть происходящего понял Рожнов. Незадолго до того у него установились довольно близкие отношения с одним из членов Управы, Владимиром Куприяновым, курировавшим науку. Вместе они ездили на охоту, Рожнов часто гостил на даче Куприянова. К тому же они были сверстниками. Куприянов не примыкал ни к одной из враждующих управских партий и пользовался поэтому авторитетом у обеих. В этом человеке, гораздо более искушенном в партийной борьбе, чем казалось на первый взгляд, Рожнов обнаружил последовательного приверженца идеи свободного развития языка, снятия всех административных и правовых препон на пути этого процесса. Они много беседовали на эту тему и нашли друг в друге самое горячее понимание. Чем больше они общались, тем больше утверждался Рожнов во мнении, что Куприянов, которого в стране мало кто знал, сейчас на взлете.

Так что Рожнов лишний раз порадовался собственной проницательности, узнав, что главой правительственной комиссии по организации похорон Сусорова назначен именно Куприянов. По-видимому, эта кандидатура устраивала все воюющие управские фракции. Когда через пару недель чрезвычайный пленум утвердил Куприянова на посту генерал-прокурора, новостью это стало только для народа. На разных уровнях власти о грядущем назначении уже знали и гадали, чем это может для всех обернуться. Сходились в одном: новый генерал-прокурор станет вмешиваться в вопросы языка не более своих предшественников. Это подтверждалось и отсутствием громких отставок после выборов. «Тихое назначение» — так было воспринято это событие людьми во власти, и все взгляды обратились к пустующему месту главного логопеда.

Тут интрига была гораздо острее: главный логопед избирался тайным конклавом, который состоял из двенадцати членов Совета логопедов. Им мог стать только прямой потомок первого логопеда Мезенцева, обязательно мужчина не моложе тридцати пяти, с опытом работы не менее десяти лет. На практике, однако, на эту должность избирались люди в возрасте, с заслугами. «Кто это будет?» — гадали все и раз за разом перечисляли подходящих кандидатов: младшего брата Мезенцева и еще четырех носителей фамилии, представителей боковых ветвей семейства. У самого Виталия Мезенцева детей не было.

Результаты конклава буквально оглушили всю касту. Новым главным логопедом стал Александр Ирошников, потомок Леонида Мезенцева по материнской линии, магистр биологии и главный логопед одного из столичных округов. В среде коллег у него была репутация либерала, он открыто поддерживал идею о языковой реформе, поэтому немедленно после объявления результатов выборов разразился скандал, разумеется, только внутри касты: представители консервативного крыла не пожелали признать результатов выборов. Выяснилось, что либералов среди двенадцати членов Совета было большинство — аж восемь человек. Самым неприятным для консерваторов было то, что все эти восемь человек были назначены в Совет покойным Мезенцевым строго на основании их заслуг и ценного опыта. Протесты, однако, затихли довольно быстро, особенно после того, как новоизбранный главный логопед снял с должностей самых рьяных протестантов. А Рожнов осознал, что у него появился уникальный шанс.

С Сашей Ирошниковым он отношений никогда не терял. Как и предрекал давно покойный Петр Александрович Рожнов, Сашины земские увлечения скоро прошли, и он вернулся в город, где семья быстро помогла ему устроиться на хорошую должность. С тех пор он рос по службе, хотя и не так быстро, как Юра. Но за ним было происхождение, голубая кровь, о чем сам Ирошников всегда отзывался с

насмешкой. Либеральных взглядов Саша никогда не скрывал, а консерваторов из числа логопедов просто не замечал: все-таки аристократ в нем чувствовался.

Рожнов позвонил ему сразу же, как только узнал о его назначении. Ирошников был, как всегда, вдумчив и серьезен.

— Такое же поведение иногда встречается у представителей животного мира, — сказал он. — Например, копытные избирают себе лидеров не из числа общепризнанных, а руководствуясь критериями спасения вида. Возможно, и тут без этого не обошлось. Наше стадо, похоже, о чем-то задумалось.

— Что с Советом собираешься делать? — напрямик спросил Рожнов.

— Там открываются четыре вакансии, — так же прямо ответил Ирошников.

— Палтусы небось скачут от восторга, — заметил Рожнов, скрыв радость.

— А чего им не скакать? Они свой интерес видят. Только что Куприянов звонил, поздравлял.

— А! Ну, есть с чем.

— Ты, говорят, его знаешь неплохо?

— Да. Мужик он хороший оказался.

— Иногда обнаруживается такая аномалия среди членов Управы.

Они помолчали.

— Ну, ты, значит... — сказал Рожнов.

— Я понял, Юра, — перебил Ирошников. — Это хорошо, что ты позвонил. До скорого.

И действительно, очень скоро Рожнова вызвали в Управу — главный логопед выдвинул его кандидатуру на одно из освободившихся мест в Совете.

Итак, «полядок».

Рожнов и слышать не желал жалких аргументов противников этого нововведения. Отчаявшись сослаться на

недопустимость изменения норм законодательства, они напирали теперь на то, что меняется смысл корневого слова, а с ним в новое слово привносится ложный, и даже вредный, смысл, связанный со словом «ляд». У граждан может возникнуть ощущение, что порядок, ряд отныне изменены, аргументировали официальные оппоненты Исправительного комитета. Граждане могут задаться вопросом: «На кой ляд нам этот полядок, когда он — непорядок?»

Рожнов ответил стандартной запиской на имя всех трех оппонентов: «Совет руководствовался многочисленными обращениями граждан и организаций, представивших неопровержимые примеры употребления в народе слова “полядок”, а также результаты миниреферендумов в нескольких муниципальных образованиях по всей стране, где гражданам были заданы вопросы: “Произносите ли вы слово ‘порядок’ как ‘полядок’?” “Целесообразно ли, по вашему мнению, официально закрепить употребление слова ‘полядок’?” Подавляющее большинство граждан ответили на оба вопроса утвердительно».

Одним из официальных оппонентов Исправительного комитета при Высокой Управе был Страхов, всегдашний противник Рожнова. Оба получили назначение на свои новые должности почти одновременно, с перерывом в пару дней, но назначение Страхова официальным оппонентом Исправительного комитета было неожиданным. Уже либералы всех мастей зашевелились внутри касты — а тут Страхов, известный консерватор, получает возможность официально тормозить представление любого либерального члена Совета логопедов. На посту члена главной проверочной комиссии Страхов столько раз срывает планы по призыву кандидатов, что жалобы на него составили в Совете три толстых фолианта, прошитые крепким шпагатом. Несмотря на это, Страхов удержался и даже укрепил свои позиции — у него были тайные покровители. В сущности, за Страховым стояло все консервативное крыло логопедии. Из двух других оппонентов Исправи-

тельного комитета один был назначен по его рекомендации. С самого своего назначения Страхов развернул непримиримую борьбу с Рожновым и другими либеральными членами Совета. Эта борьба до последнего времени шла с переменным успехом, но с назначением либерала Теплова на пост председателя комитета оппоненты начали проигрывать. Это приводило Страхова в неистовство, а Рожнова — в тихий восторг.

Последний месяц борьба развернулась вокруг речеисправительного ведомства. Высокая Управа явно взяла курс на то, чтобы подчинить речеисправителей себе. Совет логопедов дал понять, что не возражает. Страхов не сомневался, что это сговор, и догадывался, кто за этим стоит. С давних пор, еще когда молодой Рожнов добился смещения с должностей всего руководства речеисправительного ведомства столичного Цибиковского района, он словно дал обет бороться с речеисправителями на всех уровнях. Его внезапные инспекционные поездки по речеисправительным курсам создали ему славу гонителя: Рожнов добивался увольнения виновных, даже когда нарушения, по всеобщему мнению, были пустяшные. Не было новостью и то, что речеисправителей хочет подчинить себе Управа. На протяжении долгих лет этого добивались все генерал-прокуроры, но ведомство, опираясь на поддержку логопедов, оставалось судебным органом. Теперь, когда поддержка логопедов внезапно исчезла, ведомство оказалось практически незащищенным. Его директор Гуселетов принялся забрасывать Совет паническими письмами о том, что к нему в очередь выстроились девять управских проверок, что затребована секретная статистика по несчастным случаям (так официально именовались немтыри), что будущее ведомства под угрозой. Совет безмолствовал. А потом замолчал и Гуселетов: его принялись проверять так основательно, что времени на письма у него уже не осталось.

Вот тогда и настало время Рожнова. Он замыслил проверку всех столичных исправдомов, находящихся в веде-

нии речеисправительного ведомства. Исправдомами в быту называли лечебницы, где содержались немтыри — несчастные жертвы речеисправительных курсов. Некоторым удавалось остаться на свободе. Большинство запирали в исправдомах: ведомство не было заинтересовано в том, чтобы общество узнало о масштабах потерь. Однако недовольство и злоба на речеисправителей росли. Усилился поток жалоб от населения. С негласного разрешения партийного руководства и согласия логопедов некоторые обкомы на местах начали партийные проверки речеисправительных курсов и исправдомов.

Так что свой завершающий удар по речеисправителям Рожнов рассчитал отменно. Почва была подготовлена: у него накопился огромный материал на речеисправителей, в том числе из архива Тайного департамента, где обнаружилось любопытное анонимное свидетельство — рукописная тетрадь, озаглавленная «Немтыри», сборник свидетельских показаний о преступлениях речеисправителей. Эти материалы Рожнов отправил на ознакомление и в Управу, и в Совет логопедов, после чего по особым каналам получил информацию, что против дальнейших действий Рожнова руководство не возражает. К тому времени подоспел и указ о переводе речеисправительных учреждений в ведение Министерства образования.

Итак, руки у него были развязаны. Одно только смущало Рожнова: о грядущей инспекции по исправдомам откуда-то прознал Страхов. Таиться он не стал, а сразу позвонил Рожнову. Разговор длился недолго:

- День добрый, Юрий Петрович. Страхов беспокоит.
- Добрый день, Александр Николаевич. Слушаю вас.
- Я буквально на две минуты. Хочу, чтобы вы знали — нам известно о ваших намерениях, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ваш преступный сговор с Партией завершился большой неудачей.
- Вот не знал, что вы сочувствуете речеисправителям.

— А я им не сочувствую, Юрий Петрович. Отдельные их недостатки известны. Но то, что собираетесь сделать вы... не отпирайтесь, ведь вы хотите упразднить ведомство.

— Это не в моих силах. Зато я могу затеять расследование. У меня, Александр Николаевич, столько на них материала, что девать некуда. И это истинно вопль народный. Не слышать его дольше — преступление.

— Преступление — то, что собираетесь сделать вы. В общем, я вас предупредил, Юрий Петрович.

— А я вас, Александр Николаевич.

— Всего доброго.

— До свидания.

Положив трубку, Рожнов задумался, к чему может привести эта утечка информации. Свои проверки он всегда организовывал в строжайшей тайне. Помогало также и то, что никто прихода логопедов не ожидал. Речеисправители не привыкли к таким проверкам. Оповестит ли их Страхов? Вряд ли тот мог узнать, какие именно исправдома подвергнутся проверке, но все же...

Рожнов и вправду желал упразднения речеисправительного ведомства. Это было истинной целью его проверки. Более того, это было его мечтой. Странная уния, намечающаяся между Партией и логопедами, радовала его. Рожнов был уверен, что в результате победитель будет один — Язык. Тогда и народу будет легче. Разумеется, какие-то законы следует сохранить. Но такие калечащие, репрессивные ведомства, как институт речеисправителей, никому не подконтрольный, следует уничтожить. Он давно утвердился в этом мнении, с первого своего посещения цибиловских речеисправительных курсов.

Рожнов был за осмотрительные реформы.

Тогда, в Цибилове, ему не удалось закрыть курсы. Более того, за стремление это сделать ему наверху дали по шапке. Но снять с работы и упереть за решетку за выявленные нарушения все руководство курсов ему удалось, и это он считал первым своим достижением и первой победой.

Кандидатов, конечно, продолжали посылать на речеисправительные курсы, но Рожнов взял этот процесс под личный контроль и следил за тем, чтобы кандидаты набирали минимально необходимое количество часов. Уже на следующий год кандидаты от Цибиковского района заполнили призывные пункты Партии. Это были, по мнению Рожнова, достойные люди, вовсе не сорный народ. В признание его заслуг Рожнова специально вызвали к члену Управы Вереину, ответственному за кадровые вопросы, чтобы вынести ему особую благодарность за вклад в улучшение кадровой ситуации на местах.

Потом были другие назначения, все в пределах столицы. Рожнова стали бросать в самые сложные районы, где на фоне тяжелой экономической ситуации отмечались массовые нарушения, допускаемые речеисправительными органами. Для Рожнова не было секретом, что за этими назначениями стоит Партия, увидевшая в нем удобного борца с давним врагом. Знала об этом и логопедия. Отец, вначале одобрявший его действия, потом осудил его. Они так и не восстановили добрых отношений: спустя несколько месяцев Петр Александрович неожиданно скончался. Не надолго пережила его и мать. Андрей, сын, давно стоящий на ультраконсервативных позициях, тоже осуждал Рожнова. И внутри касты Рожнов не избежал косых взглядов, но сотрудничество с Партией ему спускалось с рук — такую ненависть вызывали речеисправители у обеих сторон.

И вот теперь ему предстояло нанести последний удар.

Рожнова в инспекционных поездках всегда сопровождали несколько молодых чиновников, которых он перед каждой поездкой на всякий случай менял. Еще вечером он не знал, какой из отобранных накануне исправдомов посетит. Утром погода была дряблая, промозглая, и Рожнов остановил свой выбор на исправдоме недалеко от центра, чтобы ехать было не так далеко. С собой он взял четверых

исполнительных молодых людей, которые только явились на работу и были поставлены перед фактом во избежание огласки. Все погрузились в черную служебную машину и отправились в путь.

Рожнов немногословно объявил, что им предстоит делать. В детали он не вдавался еще и потому, что никогда не бывал в исправдомах и не знал, как их встретят. Никогда еще в истории логопеды не являлись с проверкой в исправдом. Письменной санкции на руках у него не было, имелось только устное напутствие Куприянова и устное же одобрение Ирошникова. Рожнов понимал всю деликатность ситуации, поэтому решил проявить всю твердость, на какую был способен.

Исправдом помещался в тяжелом темном кирпичном здании, бывшем ремесленном училище. Здание это едва виднелось из-за высокого сплошного забора. Он был так высок, словно в исправдоме содержались не люди, а какие-то особенные прыгучие животные. Массивные резные ворота были заперты. Рожнов подошел к ним и стукнул громадным молотком. Прошло время, пока открылось окошечко в дверце. Рожнов сказал прямо в белое лицо, выглядывавшее оттуда:

— Логопедическая проверка. Открывайте.

Белое лицо вытянулось, и окошечко захлопнулось. Послышался топот убегающих ног.

Рожнов повернулся к ожидавшим помощникам.

— Ломай, — негромко приказал он.

Молодые люди радостно всполошились и быстро вытащили из машины ручной таран. Гулкие удары понеслись по окрестностям. За воротами слышался топот многих встревоженных ног и какие-то смутные голоса.

— Не ломайте! — вдруг послышался с той стороны голос. — Кто там?

— Логопедическая проверка, — нехотя повысил голос Рожнов. — Открывайте, а то ворота вам вышибем.

— По какому праву? — спросил голос.

Рожнов махнул рукой, и новый удар сотряс ворота. Одна петля соскочила, дверца покосилась.

— Подождите! — вскричал голос с той стороны. — Открываем!

Дверца задергалась и выпала наружу. Рожнов шагнул в открывшийся проем. За воротами его ожидала небольшая толпа перепуганных людей. Судя по белым халатам, это был персонал исправдома. Вперед вышел худой, коротко стриженный, смуглый человек.

— В чем дело, товарищ? — волнуясь, произнес он. — Здесь лечебное учреждение. Вы не имеете права.

— По распоряжению Министерства образования, — сказал Рожнов.

— Нам никто не звонил, — заволновался человек. — Постойте, какого Министерства образования? При чем тут Министерство образования?

— Им еще не сообщили, — обернувшись к помощникам, иронично сказал Рожнов.

Помощники с готовностью засмеялись.

— Газеты нужно читать, товарищ, — сказал Рожнов человеку. — Кто здесь Штин?

— Я Штин, — ответил человек.

— Вы директор?

— Да в чем дело?!

— Рожнов, из Совета логопедов. По распоряжению Министерства образования. Принято решение о внеплановой проверке вашего учреждения.

— Как, вы сказали, ваша фамилия?

— Рожнов моя фамилия.

— А почему именно нашего учреждения, можно узнать?

— Игорь Анатольевич, да? Значит, Игорь Анатольевич, давайте пройдем к вам в кабинет, и я вам там все расскажу. А пока ребята мои ходят вокруг, посмотрят.

— Вообще-то это режимное учреждение...

— А они не будут лишний раз никуда соваться. Просто ходят, на воспитанников ваших поглядят. Не раздражаете?

— Мария Владимировна, проводите.

— Да вы не беспокойтесь, Мария Владимировна. Ребята уже взрослые, сами ходят, посмотрят.

— Вообще-то это режимное учреждение!

— Ничего, ничего, на то и проверка. Проверяют и режимные учреждения, и нережимные. А Марию Владимировну мы беспокоить не станем. Мария Владимировна, вы можете спокойно заниматься своими делами.

Замкнувшийся Штин провел Рожнова в свой кабинет. Здесь он сел за стол и молча принялся ждать, что скажет Рожнов.

Рожнов сказал:

— Игорь Анатольевич, я понимаю, что мы неожиданно нагрянули. Но таково распоряжение.

— С каких это пор логопеды Минобразу подчиняются?

— Не подчиняются, а сотрудничают.

— Тоже новость для меня.

— Времена такие настали, Игорь Анатольевич. Вы бумаги приготовьте.

— Какие вас интересуют?

— Нас дела ваших воспитанников прежде всего интересуют.

— Дела воспитанников? Их тут сорок два человека.

— Ничего, у нас целый день впереди. И прикажите чаю принести. Погода сегодня паршивая, не находите?

— Погода да, мерзкая. Алло, Алена? Принесите, пожалуйста, дела наших воспитанников. Да, всех. Ну, попросите кого-нибудь вам помочь. Да, и чайку принесите нам. Ни с кем меня не соединяйте, я буду до вечера занят.

Через какое-то время начали вносить пухлые папки. Рожнов просмотрел четыре. Другие смотреть не имело смысла: везде стояли те же самые подписи — Гуселетова, его заместителя Клепикова и самого Штина. Резолюция о помещении кандидата в исправдом тоже была одинаковой: «На основании длительного безуспешного пребывания на курсах и ввиду неудовлетворительных результатов».

По сути дела, потерявших речь людей упрятывали подальше от глаз. Судя по датам, некоторые бывшие кандидаты пробыли в этом учреждении по десять-пятнадцать лет. Это и были те самые знаменитые немтыри, о которых в народе ходили самые жуткие слухи. Их здесь не лечили и никак не исправляли: они просто содержались за этими высокими стенами.

— Игорь Анатольевич, — обратился Рожнов к терпеливо ожидающему Штину, — вы здесь сколько уже работаете?

— Четвертый год.

— А до этого кем работали?

— До этого в Пятом речеисправительном управлении.

— Которое в Гладилине, что ли?

— Да, в Гладилине.

— А там вы кем?

— Главным речеисправителем. Девять лет проработал.

— Вот оно как. И часто кандидатов вы тут принимаете?

— Каких кандидатов?

— Партийных.

— А! Ну, какие они кандидаты. Бывшие кандидаты, и только. Нечасто. По паре человек раз в три месяца.

— А выписываете часто?

— Ну, тоже где-то так.

— Я вот выписок не вижу в делах. Вы не подшиваете их, что ли?

— Почему, подшиваем. Только те дела, наверное, в архиве.

— Игорь Анатольевич, — произнес Рожнов с упреком, — я не про архивные дела вас спрашиваю. Когда вы в последний раз выписывали воспитанников?

— Ну, — сказал Штин, — разве так упомнишь? Месяц назад где-то.

— Сколько человек выписали?

— Это надо Марию Владимировну спросить.

— Подождите звонить, Игорь Анатольевич. Расскажите, что вы здесь делаете с воспитанниками?

Штин скрестил пальцы и замолчал.

— Вот вы молчите, — заметил Рожнов, — а время идет.

— У нас инструкция есть, — сказал Штин, — директором утвержденная.

— Понятно, как же без инструкции? А вот согласно инструкции этой что с воспитанниками тут делают?

— Наблюдают.

— И лечат как-то?

— Они не больны, лечить их незачем. Наблюдаем их. Они плохо ориентируются в пространстве, могут пораниться.

— А в инструкции об этом написано?

— Да.

— Вы сделайте мне копию этой инструкции. Просто интересно.

Рожнов перелистал еще несколько дел. Внесли чай, печенья.

— Чай у вас вкусный какой, — сказал Рожнов.

Штин напряженно молчал.

— А все-таки, Игорь Анатольевич, — произнес Рожнов, закрывая последнее дело. — Выписок я так и не вижу. Вы, похоже, совсем людей не выписываете?

Штин пошевелился.

— Это нужно подчиненных спрашивать, — упрямо произнес он.

— Спросим и подчиненных, — кивнул Рожнов.

В это время вошел один из его помощников.

— Юрий Петрович, — негромко сказал он, — идите взгляните.

На дворе толпились люди в желтых больничных халатах. Их было много: Рожнову показалось, что не меньше сотни. Толпа была странно молчалива. У тех, что стояли в переднем ряду, в руках был плакат: «Произвол!» Толпу малосильно теснил исправдомовский персонал, но при появлении Рожнова перестал.

— В чем дело, товарищи? — обратился Рожнов к толпе.

Вперед вышел мучнистого цвета, редковолосый человек. Он попытался что-то сказать, но, кроме отдельных звуков, ничего вымолвить не смог. По его лицу было, однако, видно, что ему много о чем есть рассказать.

— Не волнуйтесь, товарищ, — произнес Рожнов успокаивающе. — Сосредоточьтесь и расскажите все по порядку.

— Да он не может по порядку! — не выдержал вышедший с ними Штин. — Он речь потерял. Как вы не понимаете — они все тут такие!

— Игорь Анатольевич! — строго сказал ему Рожнов. — Речь не главное. У граждан накопилось. Видите плакат? Я такого сигнала пропустить не могу.

— Да они вечно жалуются! — закричал Штин.

— Попрошу не вмешиваться, — осадил его Рожнов. — Товарищи! Кто может говорить?

Из задних рядов протолкался худой пучеглазый человек со стоящими дыбом волосами.

— Па...па...па... — произнес он, помогая себе руками.

— Не спешите, — подбодрил Рожнов. — Излагайте по существу.

— Па...ра...из... — вытолкал из себя человек.

— Я понял вас, — кивнул Рожнов. — Произвол, так?

Человек закивал.

— Чей произвол?

— Их, — сказал человек, уставляя палец в Штина.

— Понимаю вас, — сказал Рожнов, испепелив того взглядом. — Продолжайте.

— Са...са...са...ва...

— Свобода? Свободы нет?

Человек с жаром закивал.

— За...за...кы...кы...

— Закон?

Человек кивнул и тут же показал руками — нет.

— Закона такого нет — вас тут держать?

Тут закивала и замычала вся толпа. Вперед выступил еще один безъязыкий.

— Пы...сы...ты...

— Писать?

Человек закивал и продолжил:

— Бы...мы...

— Бумагу? Бумаги не дают — писать?

Толпа замычала в подтверждение так громко, что Рожнов невольно сделал шаг назад.

— Вот что, товарищи, — произнес он. — Я сейчас распорядюсь выдать вам бумагу. Времени у вас — до окончания рабочего дня. Пишите, пожалуйста.

Под наблюдением Рожнова в толпе раздали листы, ручки, и счастливые немтыри, мыча, разбежались по своим углам.

Со Штиным Рожнов уже не разговаривал. Он стал обходить дом. Все здесь было как в больнице: общие палаты, койки, прикрытые толстыми одеялами, прикроватные тумбочки. Все было новое, крашеное. Было и медицинское оборудование: какие-то аппараты, размеренно пикая, стояли в некоторых палатах. Рожнов не вдавался насчет их в детали. Их, этих деталей, было так много, что можно было поневоле отвлечься от главного. Он заходил в палаты и всюду видел: немтыри пишут. На него даже не оглядывались. Каждый воспитанник настолько ушел в рассказ о собственных бедах и в связанные с этим переживания, что Рожнова просто не замечал. На него поднимали невидящие глаза, что-то мычали, а потом снова опускали глаза к бумаге. А та терпела годами выстраданные рассказы немтырей.

Рожнов тихонько подозревал одного из своих помощников.

— Митя, скажи в Минообраз и требуй допуска в другие дома. Завтра разобьемся по группам.

Сообразительный Митя кивнул и исчез. Рожнов медленно продолжал обход.

К вечеру помощники принесли Рожнову собранные по палатам заявления немтырей. Беглый его взгляд выхватил строчку: «А как я есть пррризванный нашей ррродной Паррртией, то всецело готов занять любые положенные долж-

ности, но, будучи схвачен прррреступными...» Рожнов, качая головой, аккуратно собрал листы в одну стопку и сунул в папку. На него отсутствующим взглядом смотрел Штин.

— Я буду жаловаться, — сообщил он равнодушно.

— Жалуйтесь, конечно, — разрешил Рожнов.

— Мы все зафиксировали. Вами допущены нарушения.

Превышаете полномочия, — кинул Штин.

— Как же без этого? — не стал возражать Рожнов. —

У нас ведь так: не превысишь полномочий — ничего не добьешься. Вот и приходится превышать.

— Вот вы и превысили.

— Допускаю. Но мы не со зла.

— За дверь кто будет платить?

— Вы направьте запрос в министерство.

— Образования?

— Образования.

Вошел помощник, сообщил:

— Все готово, Юрий Петрович.

— Все взяли?

— Все.

Рожнов повернулся к Штину.

— Ну, спасибо, Игорь Анатольевич, — попрощался он.

Штин промолчал.

Во дворе их окружили немтыри. Они что-то растроганно мычали, провожая их под сплошным холодным дождем.

Рожнов ездил по исправдомам всю неделю. Под конец этой трудной недели по телевидению неожиданно выступил Куприянов. Это было его первое телевыступление с момента избрания генерал-прокурором.

— Дорогие товарищи! — начал он, и вдруг стало заметно, что он немного гундосит. — Партия и правительство прилагают...

Рожнов речи не слышал: допоздна просидел за составлением отчета. Как потом ему рассказывали, речь Куприянова лилась плавно и привычно, перекаtywаясь на за-

тверженных оборотах. Повадал он планах на будущее, о скором начале посевной. А потом стал рассказывать Куприянов о насущных задачах, и вся страна вдруг замолкла.

— Товарищи! Ни для кого не секрет, что наше недавнее прошлое канонизировано и идеализировано, возведено в ранг общих непреложных догм. Самое опасное — замалчивать историю, заглушать ее честный голос. В угоду политическому моменту конкретные исторические факты и события, плоды деятельности таких значительных исторических фигур, как, например, Василий Тарабрин, искажаются, а то и просто скрываются от общественности. Открытое и непредвзятое осмысление собственной истории — гарантия открытости нашей политической системы, ее демократического будущего.

И дальше в том же духе говорил Владимир Куприянов, тихий генерал-прокурор, и вся страна, замерев, слушала его. Упомянув запрещенное имя Тарабрина и его значительную историческую роль, Куприянов отметил преимущества демократического общества и подчеркнул необходимость перехода к многопартийной системе. К тому времени некоторая часть его аудитории находилась в обмороке, другая замерла от восторга, а остальные, ничего не понимая, внимательно слушали, чувствуя важность момента, и ждали, чем речь завершится.

Куприянов же закончил так:

— Наше общество, решительно двинувшееся по пути демократического обновления, остро нуждается в реформировании самого главного — языка, нашей с вами родной речи. Существующие правовые нормы окосняют язык, лишают его живительного истока — народной речи. Самые институты, призванные сохранять язык, превратились в застойные очаги, рассадники всяческих злоупотреблений и кастового мракобесия. Поэтому назрела необходимость в обновлении, а в некоторых случаях в решительной ломке этих отживших институтов. Будущее нашего свободного общества — в свободном языке.

Рожнову позвонил рассказать об этом один из его помощников. Выслушав все, Рожнов медленно положил трубку.

Он почувствовал, как там, за окном, в густой ночи, оживился, приподнялся, приблизился к нему и ко всем Язык.

— Ну, тепель не усидеть лечеиспавителеям! — довольно пробормотал Рожнов, с новой силой набрасываясь на свой доклад.

Глава восьмая

С первых же дней работы в «Правиле» Заблукаев понял одну простую вещь: читательская аудитория у газеты так мала, что сам редактор не знал, кто читает его издание. На этот счет у Горфинкеля были свои усмешливые догадки: он считал, что газету очень внимательно читает Тайный департамент и его агенты в Европе. Памятуя это, он в статьях не скупился на бранчливые эпитеты и оптовые обвинения. Выпустив очередной номер, он с неделю ходил, прислушиваясь к себе и к миру. «Молчат, — с каким-то ожесточенным удовлетворением заключал он. — Значит, нечего им сказать». О том, что газета не представляет никакого интереса даже для Тайного департамента, он не желал и думать.

Итак, массового читателя у газеты не было. Желчная публицистика Горфинкеля не интересовала рядового эмигранта. Рядовой эмигрант исправлять своего языка не желал. Более того, его уже не заставляли это делать. В этой не самой большой европейской стране существовали целых шестнадцать эмигрантских газет и четыре журнала, издававшихся на «народном» наречии. Самые крупные, «Современные записки», «Вубеж», «Вевсты», «Возлоздение», выходили многотысячными тиражами. Своего читателя находили и издания помельче. Заблукаеву оставалось

только признать, что это подлинный расцвет печатного «народного» слова.

На этом языке здесь уже много лет творили видные литераторы, которых когда-то вынудили покинуть родные пределы. Через пару кварталов от редакции «Правила» жил Алалыкин, автор крестьянской хроники «Ты голи, голи, моя лучина», видный борец за права «народного» языка, отсидевший шесть лет за свои убеждения. В этом же городе жил поэт-авангардист Николай Петяев (Звездный), который, хоть и писал на зауми, всячески высказывал свои симпатии «народному» наречию, за что и был выслан. В эмиграции заумь Звездного достигла совершенно звездных пределов: поэт заявлял, что он пишет на будущем «народном» языке, каким тот станет через двести десять лет. И даже у нечитаемых книжек Николая Звездного было больше читателей, чем у газеты «Правило».

Только еще поднимаясь по лестнице в квартиру Горфинкеля, Заблукаев слышал, как тот кашляет. Это был особой породы кашель — влажный, долгий, взхлеб, который сам Горфинкель, поглощенный очередной статьей, давно перестал замечать. Когда-то Горфинкель был заядлым курильщиком, но в эмиграции бросил — ему нужны были силы для борьбы с режимом. Болезнью он свой кашель не считал — по его мнению, были на свете хвори и похуже. Немолчный горфинкелевский кашель с первого же дня стал досажать Заблукаеву.

Горфинкелю очень понравились его статьи: в них был «запал», как он выразился. Но за этим последовало первое их столкновение: Горфинкель немилосердно отредактировал одну статью Заблукаева, а от второй оставил только середину.

— Пойдет как заметка, — пояснил он.

Заблукаев возразил, и они поскандалили так, что Горфинкелю пришлось возвращать рассердившегося Заблукаева от дверей. Тогда-то Горфинкель и понял, что к его порогу прибило такую же страстную, непримиримую на-

туру — может быть, даже еще более страстную и непримиримую, чем он сам. Заблукаева сразу же стало много. Будучи человеком в издательских делах неопытным, он немедленно принялся советовать Горфинкелю, как нужно издавать газету. Он хотел, чтобы ее читали все. Горфинкель этого не хотел: он целился в избранного читателя. Поэтому скандалы шли один за другим — вдрызг, с криками, гневными тирадами, взаимными обвинениями. Горфинкель скоро понял, что новый сотрудник совершенно не знает его заслуг, и принялся исподволь подсовывать Заблукаеву свои книжки, отзывы о своих статьях и сами статьи — давние и новые. Все это не произвело на Заблукаева ни малейшего впечатления. Выросший в безвоздушной среде, авторитетами для себя он числил только умерших писателей, а всех ныне живущих и дышащих просто не замечал. Кроме всего прочего, Заблукаеву претила идеологическая позиция Горфинкеля. Покинувший родину тридцать лет назад, тот стал воспринимать ее как обычную несвободную страну, каких множество, где правит жестокий режим, подавляющий независимую прессу и тысячами бросающий своих оппонентов в тюрьмы. Он даже не хотел слышать о немтырях и просто заткнул уши, когда Заблукаев попытался рассказать о Языке.

— Заблукаев! — кричал он при этом резким, неприятным голосом. — Вы мне сказки рассказываете! Прекратите болтать чепуху!

Горфинкель стоял за свободу, за плебисцит, за открытую прессу. Правильный язык он считал частью демократии и особо на этой теме не останавливался. Он писал и говорил на этом языке потому, что иного не представлял.

— Дементий Андреевич, — говорил Заблукаев, — свобода — это прекрасно. Это то, к чему должно стремиться каждое общество. Однако порча языка, дозволяемая обществом, может привести к большему, чем просто потеря свободы. Запятая, поставленная не там, или орфографическая ошибка могут привести к войне.

— Знаете, кто вы, Заблукаев? — кричал Горфинкель. — Вы максималист! Вы делаете из мухи слона!

— А вы, Дементий Андреевич, — отвечал Заблукаев, — слона не замечаете.

Однажды Заблукаев завел осторожную речь о конкурентах — и обнаружил, что Горфинкель знает только журнал «Современные записки». При этом он считал, что прекрасно знаком с его редактором — лет пятнадцать назад они вместе пили чай на одном приеме. Того, что этот редактор давно умер, что в городе выходит чуть ли не двадцать эмигрантских газет и журналов, что большинство эмигрантов считают, как выражаются опросные анкеты, «народный» язык своим родным, ему было невдомек. А когда Заблукаев прямо ему об этом рассказал, Горфинкель заткнул уши.

— Заблукаев! — закричал он. — Откуда вы это взяли? Не морочьте мне голову!

— Дементий Андреевич, — сказал Заблукаев, — у меня соседи есть. Они читают эти газеты, а некоторые журналы даже выписывают. Поверьте мне, нашей газеты они даже не смогут прочесть. Она для них напечатана на неправильном языке.

— На каком же языке они тогда говорят?

— А на таком. — И Заблукаев передразнил: — «Знать не знаю, сто за газета “Плавило” такая! Новая, сто ли?»

— Мы издаемся уже пятнадцать лет!

— А им до этого нет дела. Они с детства говорят на этом языке и читать могут только на нем.

В этих нескончаемых диспутах выходила газета — и менялась на глазах. Остервенелые статьи Горфинкеля под заголовками «Осиновый кол логопедическому режиму!» и «Воля лучше неволи» постепенно уступали место статьям и эссе Заблукаева, которые после неистовых филиппик Горфинкеля поражали знанием дела и какой-то подспудной страстностью, словно автор сдерживается, чтобы не наговорить лишнего. Заблукаев писал тогда под псевдони-

мом Лев Логопедов, и выделяться на фоне Горфинкеля ему не хотелось.

Тем не менее газета начала привлекать внимание. В редакцию стали поступать такие письма:

«Уважаемая ледакция! Недавно случайно плиоблел Васу газету, и она мне очень понлавилась, несмотля на то цто вы допускаете мнозество олфоглафицеских осибок. Очень заль, цто Васа газета выходит таким маленьким тилазом. Плосьба сообщить, как мозно на нее подписаться и какие Васи условия. С увазением,

Г. Копытов».

Заходясь в ожесточенном кашле, Горфинкель читал эти письма, как скрупулезно прочитывал он все, поступающее в редакцию, — рекламные листки, приглашения на выставки, счета за коммунальные услуги. В настоящее авторство писем он не верил. По его мнению, зашевелились европейские агенты Тайного департамента. Зашевелились они с единственной целью — погубить газету и ее главного редактора. Но ничего у них не выйдет. Он, Горфинкель, и не таких раскусывал.

— Дементий Андреевич, — пытался переубедить его Заблукаев, — это просто подписчики. Мы набираем популярность.

— Заблукаев! — взвивался Горфинкель. — Я поопытней вас буду. Я издаю эту газету шестнадцатый год! Приберегите ваши советы для других!

Заблукаев обижался, замыкался, огрызался — и в то же время видел, что Горфинкель все больше полагается на него. Тот всех приехавших считал агентами Тайного департамента. Не минуло это и Заблукаева: на первых порах Горфинкель замучил его подозрительными расспросами и попытками поймать на слове. Но потом присмотрелся и однажды объявил:

— Вы слишком просты для шпиона, Заблукаев. Признайтесь, ведь к вам никогда не предлагали сотрудничать?

— Вы ошибаетесь, предлагали.

— Я вам не верю! Какую ценность вы для них представляли? Вы не можете представлять никакой ценности, Заблукаев. Вы просто колючка, от которой нужно было избавиться. Я знаю это, потому что и сам был такой же колючкой.

Заблукаев не возражал. В конце концов, зачем старику было знать правду? Он никогда не сможет переубедить его, что сумел вырваться из-под надзора. Но Горфинкель время от времени возвращался к этому разговору, чтобы еще и еще раз убедить себя и Заблукаева в том, что тот не представлял для режима никакого интереса. Это нужно было ему для самоуспокоения. Вскоре Заблукаев понял и принялся поддакивать — нет, ему никогда не предлагали сотрудничать; да, он не представляет для режима никакого интереса. И Горфинкель постепенно успокоился.

Прошло полгода с момента приезда Заблукаева. Газета обрела несколько десятков постоянных подписчиков, в редакцию каждый день поступали письма. Пришло несколько выгодных предложений от рекламодателей. Сам Заблукаев уже освоился, получил необходимые бумаги и задумался о переезде на другую квартиру. Вот только на счет Горфинкеля он беспокоился. Старика совсем замучил кашель, во время жестоких его приступов Горфинкель синел и задыхался, но к врачам обращаться так же отказывался, ругая их бранными словами. Похоже, и врачей он тоже считал агентами Тайного департамента.

Однажды утром Заблукаев, как всегда, поднялся в квартиру Горфинкеля и увидел, что дверь полуоткрыта. Он вбежал внутрь. Горфинкеля нигде не было видно. И только когда Заблукаев принялся обходить квартиру, он увидел старика. Тот лежал в спальне, бездыханный и полностью погребенный под рухнувшей горой бумаги, словно в бумажной могиле. Заблукаев, совершенно потрясенный, про-

сидел над телом около часа. Его совершенно обездвижило. Потом кое-как поднялся и вызвал полицию. Он чувствовал себя так, точно это на него рухнул огромный бумажный курган, оглушив и затемнив сознание. Он что-то вяло отвечал полицейским, глядя, как тело грузят на носилки и выносят. Потом квартиру опечатали, и Заблукаев повлекся домой.

Дня два он не знал, что делать. Родственников у Горфинкеля не было. Но Заблукаев понимал и другое: необходимо спасти газету. Горфинкель не очень-то делился с ним секретами редакционной кухни. Корреспондентов у газеты практически не было: Горфинкель обладал уникальной способностью ссориться с человеком при первом же знакомстве. Поэтому у Заблукаева не было ни малейшего представления, к кому обращаться.

Но тут он вспомнил, что когда-то записал случайно узнанный адрес промышленника, на чьи деньги издавалась газета: Горфинкель однажды поручил Заблукаеву отправить тому письмо. Необходимо было немедленно нанести спонсору визит. Квартира Горфинкеля так и оставалась опечатанной. Целый день Заблукаев провел, роясь в своих бумагах и отыскивая клочок с адресом промышленника. Он уже исполнился уверенности, что бумажка осталась в редакции, когда догадался проверить свой чемодан. Конечно, клочок был там.

Газету «Правило» финансировал старый эксцентричный автомобильный магнат, владелец десятка фабрик, разбросанных по всему миру. Пару лет назад управление своей компанией он поручил двоим сыновьям, а сам остался почетным председателем совета директоров. По своей натуре он вовсе не был меценатом, и многочисленные письма и призывы из благотворительных организаций, присланные на его имя, обычно оставались без ответа. Но в иной день им овладевало лирическое настроение, и он начинал просматривать почту на предмет особо трогатель-

ных писем. В результате какой-нибудь приют для бездомных животных неожиданно получал в подарок огромный телевизор, а детский приют — несколько ящиков собачьего корма. Ошибка выяснялась, и и собачий корм отправлялся к бездомным животным, а телевизор — к детям. На это уходили недели и месяцы, потому что приюты были в разных странах, но магнат этого времени не замечал — его увлекал сложный процесс исправления ошибки.

Газеты он обычно не финансировал. Но когда-то одно интервью Горфинкеля попало ему на глаза. В нем Горфинкель громил бесчеловечный режим, душащий свободу на его родине. Однако не это проняло магната — он заметил, что Горфинкель — полный его ровесник, родившийся в один день, месяц и год вместе с ним. Это его тронуло. Мысль о том, что у его ровесника может быть такая странная и драматическая судьба, такая, отличная от его собственной, жизни, никогда не приходила ему в голову. Он сам разыскал Горфинкеля и спросил, чем может помочь. Еще за минуту до этого звонка Горфинкель не знал, чем можно ему помочь, — он совсем недавно переехал в Европу и только начинал привыкать к здешней жизни, — но уже в следующее мгновение понял, что ему необходима своя газета. Да, ему нужна трибуна, потому что ему есть что сказать, в отличие от многих других, которые могут лишь бесполезно твякать. И он сказал магнату: дайте мне газету, и я изменю жизнь миллионов людей в одном отдельно взятом государстве.

Магнату это показалось интересным. Он никогда не думал о том, что изменить жизнь миллионов людей можно при помощи печатного слова. Он поинтересовался, сколько Горфинкель хочет. Горфинкель с замиранием сердца назвал сумму. Магнат хмыкнул. Он никогда не подозревал того, что изменить жизнь миллионов людей в одном отдельно взятом государстве можно при таких малых затратах. И он распорядился выделить эту сумму и перечислять еще сверх того на регулярной основе для нормального функционирования нового печатного органа.

Магнат жил в громадном старинном охраняемом особняке в одном из самых фешенебельных районов города. Заблукаев, робея, приблизился к воротам и попросил проводить его к хозяину. Охранник, внимательно оглядев Заблукаева, почему-то не отослал его куда подальше и поинтересовался, кто он и откуда. Заблукаев объяснил. Охранник долго звонил куда-то, потом долго ждал ответа. Все это время он изучал Заблукаева, которому от этого равнодушно-пристального внимания стало не по себе. Наконец, охраннику, видимо, было разрешено пропустить Заблукаева, и он молча отступил в сторону.

Магнат ждал Заблукаева в своем кабинете размером с маленький зал, увешанном портретами каких-то господ в сюртуках. Это был худенький улыбчивый старичок с не улыбчивыми глазами. Он сразу произнес:

— У меня очень мало времени, могу уделить вам всего десять-пятнадцать минут.

Заблукаев кивнул.

— Я здесь по делу, которое требует немедленного разрешения. Главный редактор газеты умер. Я его замести-
тель.

— Редактор какой газеты? — спросил магнат. — На моем попечении их добрая дюжина.

Заблукаев разъяснил.

Магнат напрягся и не смог вспомнить, хотя была названа фамилия Горфинкеля. Тогда Заблукаеву пришлось в нескольких словах напомнить, какие материалы публиковались в «Правиле», и магнат сразу же вспомнил:

— Ах да, господин, который хотел изменить жизнь миллионов! Так он умер? Что же теперь, без его героических усилий, случится с миллионами его соотечественников?

— Теперь этим займусь я, — твердо ответил Заблукаев.

— То есть газета продолжит свое существование? — переспросил магнат.

Заблукаев ответил утвердительно.

— Все, что мне нужно, — добавил он, — это регулярная финансовая поддержка.

— А сможете ли вы гарантировать перемены в жизни миллионов ваших соотечественников? — спросил магнат. — Их, кажется, кто-то угнетает, не так ли?

— Да, это так, — отвечал Заблукаев, — и я обещаю, что жизнь этих миллионов ощутимо изменится. Это будет демократическое издание, направленное против угнетения миллионов уродливым и искаженным языком.

Магнат подумал, что ослышался, но промолчал. Главное — газета будет выходить и дальше. Ему было все-таки интересно увидеть перемены, произведенные «его» газетой в некоем угнетенном авторитарном обществе. После продолжительной паузы он обещал Заблукаеву всемерную поддержку, и, когда тот ушел, отдал необходимые финансовые распоряжения — и тут же забыл о посетителе.

А Заблукаев немедленно принялся за дело. Он снял небольшую контору в центре города, установил необходимую технику, телефон, перезаключил договор с типографией и уже скоро выпустил в свет первый после смерти Горфинкеля номер газеты. Видное место в нем занимал портрет Горфинкеля в траурной рамке и прочувствованный некролог. Все остальные полосы Заблукаев занял своими статьями, вытасченными, наконец, из спасенного чемодана. Однако он не стал печатать их под собственным именем, а почти везде подписался разными псевдонимами. Тогда у него были еще надежды привлечь к сотрудничеству талантливых авторов, и он прибег к псевдонимам как временной и вынужденной мере. Он не знал тогда, что отныне «Правило» окончательно становится газетой одного автора.

Собственно, с того самого дня, когда вышел в свет первый номер обновленного «Правила», Заблукаев стал заниматься своим любимым делом — проповедью. У него было время узнать соотечественников, живущих в этом городе.

В основном это были эмигранты-тарабары, бежавшие от преследований и осевшие здесь. Из шестнадцати выходивших в городе газет больше половины были общественно-политическими и издавались тарабарской общиной. Материалы в них печатались разные — от ежедневных аналитических обзоров политической ситуации на родине до забубенных рассуждений на тему того, когда же явится Дуководитель. Заблукаев стал внимательно изучать своих конкурентов и противников и вскоре понял, что среди тарабарских газет выделяется одна, которую избрал своей трибуной Гоманов. Ненавязчиво и умно газета «Пдавое слово» продвигала мысль о том, что Гоманов и есть Дуководитель. Она не настаивала и обстоятельно отвечала на письма и вопросы читателей, часто возмущенные. По сути, на страницах «Пдавого слова» развернулся широкий диалог о том, кого из нынешних вождей тарабаров стоит считать Дуководителем и на каком основании. Заблукаев отметил про себя, что Гоманов не закрывается от вопросов, не лезет в бутылку, не горлопанит, как поступали другие кандидаты в Дуководители, — нет, Гоманов делал другое. Он проповедовал. Это вызвало симпатию Заблукаева: он почувствовал в Гоманове родственную душу. Он заметил, что каждому, кто обращался с вопросом, или с просьбой, или с советом, или с подковыркой, Гоманов просто и спокойно говорил, как будет на нужду этого человека отвечено. На вопрос он давал тихий ответ, на просьбу — обещание, за совет благодарил. На подковырки и угрозы он не отвечал бранью или ехидцей, а просто отзывался: «В Царстве Истинного Языка мы сочтемся». От номера к номеру газета «Пдавое дело» умножала свой тираж и толстела.

Заблукаев не стал начинать с нее. У него были враги помельче, и он хотел потренироваться. Разбирая рукописи из чемодана, он с восторженным удивлением понимал, что готовился к этой войне долго и все его давние статьи написаны будто к этому дню. Ему не нужно было ничего

переделывать или переписывать — текст с минимальными правками шла в газету. Автор лишь выдумывал псевдонимы. Тут были и привычный Лев Логопедов, и Ефим Плюхин, и проф. Бодуэн де Куртенэ, и Илья Пророков, и кн. Языков. Каждый номер газеты был словно ошестинившийся пушками фрегат, без перерыва палящий во все стороны и поражающий все цели. И действительно, Заблукаев не считал, что в этой войне необходимо щадить мирных жителей. Его язвительная шрапнель и тяжелые бомбы посыпались на головы равно мирных граждан и военных, сиречь людей печатного слова. Не разбирая лиц и званий, он бил прямой наводкой в противные издания, в людей, пользующихся неправильной речью, в режим логопедов, наконец, в сам неправильный язык, его грамматику, фонетику, синтаксис, лексику, орфографию — он не знал милосердия и не брал пленных, он бичевал и резал, он пускал этот не ожидавший натиска город на поток и разграбление. Обвиняя, он увещевал; набрасываясь, он насмехался. От Заблукаева не было укрытия. В дюжины глоток своих разноликих сущностей он вопил, глумился, ржал, язвил, клеймил, открывал истину. В каждом номере он приводил отдельной колонкой слова, как их необходимо писать, и ссылался с мелочной скрупулезностью на статьи авторитетных словарей и примеры из старых уважаемых книг. Слово, возглашал он, есть воплощение мысли, логоса и потому свяшенно и неизменимо. Слово не может использоваться на потребу толпы. Если чей-то косный язык не может его выговорить и потому требует, чтобы слово изменили, нужно не слово менять, а вырвать косный язык.

Заблукаев был жестокий и страстный пророк, не надеющийся на понимание.

Его «Правило» заметили очень быстро. С ним возжелали спорить: посыпались звонки и письма, стали заглядывать люди, чтобы своими глазами увидеть странного редактора. Он нанял секретаршу и поручил ей никогда не

соединять его со звонящими. Уже тогда он понял, что штат корреспондентов ему не нужен. Статей из чемодана хватит еще на несколько месяцев, а новые он писал стремительно. Спорщикам и оппонентам он отвечал на страницах газеты — разрастался великий диспут о языке. Иные ночи Заблукаев не спал: обдумывая аргументы, он лишался сна и до рассвета писал, и уже в начале недели оппоненты Заблукаева получали ответ от полудюжины заблукаевских газетных сущностей в виде философского эссе, полемической статьи, фельетона и стихотворной сатиры.

Интерес он вызвал и у настоящих европейских агентов Тайного департамента. Они стали наведываться к нему, когда еще у него не было секретарши, — очень типичные вежливые люди в темных костюмах. Он смеялся над ними. В ответ они вели себя по-разному: кто-то выходил из себя, кто-то, наоборот, замыкался и быстро покидал контору. И Заблукаев тут же забывал о них. Они говорили на правильном языке, не выдвигали аргументов в пользу языка неправильного, а следовательно, были Заблукаеву неинтересны.

Прошел год со смерти Горфинкеля. Теперь в редакцию каждый день приходили мешки писем, и Заблукаеву пришлось нанять еще и человека, который стал с этими письмами работать. С самим Заблукаевым по-прежнему никого не соединяли, и он ни с кем не встречался. К этому времени авторитет его в эмигрантской среде вырос. Эмигранты среднего возраста изводились по поводу того, что их дети не желают говорить на простом языке и переходят на «книжную» речь. Это стало в среде молодежи модой. Правильная речь превратилась в своего рода молодежный жаргон, ей стало принято шеголять. Популярность «Правил» возросла необыкновенно: у журнала появились тысячи подписчиков. Конкурирующие издания стали потихоньку закрываться: их уже никто не покупал. Всем хотелось читать Заблукаева. А он вел сразу несколько колонок под разными именами, писал стихи, прозу, публицистику, ста-

тьи о старых книгах, развернутые эссе. У газеты появились консультанты — удивительные старики, знатоки неизвестных страниц истории и культуры. Это были все бывшие университетские преподаватели, профессиональные историки, в разные годы выдавленные и высланные из страны за свои публикации. За границей они продолжали свои исследования — по истории тарабаров, орфоэпического законодательства, политических репрессий. Особенно Заблукаева заинтересовали материалы об инакомыслящих, отправляемых на речеисправительные курсы. Делалось это с сознательной целью превратить диссидентов в немтырей. По разным сведениям, только за последние десять лет около сотни человек — журналистов, историков, писателей — были тайно посажены в исправдома. Заблукаев посвятил несколько номеров этой теме, публикуя большие выдержки из присланных материалов, и это подняло престиж газеты еще больше.

Редакторы других газет Заблукаева откровенно ненавидели. Он не просто отнимал у них читателей — он объявлял их речь вне закона. Их язык, на котором они разговаривали с малолетства, на котором говорили их родители, на котором издавались их газеты, был, как оказывается, лжеязыком, дурным порождением неграмотного плебса. Они, редакторы, оказывается, не владеют языком, а поклоняются ему, как идолу. Их язык, оказывается, есть инструмент порабощения общества, который тиранит похуже самого лютого тирана-человека, потому что обитает в головах. По Заблукаеву получалось, что им нет прощения, потому что они во многом и есть виновники умственной деградации, злые преступные потворщики, из корысти разлагающие чистое тело правильной речи. И ничуть не ошибались редакторы, прозвав в ответ Заблукаева «проштрафившимся логопедиком». Он и сознавал себя логопедом — но только настоящим, не таким, как те, что служили на родине.

Тогда ему и приснился этот сон. К тому времени он жил в Европе уже два года. У него появилась большая квартира, машина, невеликий, но преданный ему штат. У него была газета — его личная трибуна. И тогда к нему пришел сон. Заблукаев стоял на одном из тех холмов, что послужили когда-то основанием европейскому городу, в который занесла его судьба. Он видел далеко перед собой какую-то равнину. Никаких других подробностей было не разглядеть, но Заблукаев знал, что равнина — страна, которую он покинул. На равнине паслось какое-то животное. Оно было, судя по всему, огромным, потому что даже на таком расстоянии выглядело большим. Голова его была опущена, словно животное щипало траву. Да только Заблукаев знал, что трава не растет на той равнине. Он пытался рассмотреть животное, приложив руку козырьком ко лбу, но ничего разглядеть не удалось. И вдруг рядом появился Юбин. Заблукаев так обрадовался его появлению, что бросился к нему обниматься. Однако Юбин был непривычно строг. Отстранив радостного Заблукаева, он тоже пристально взгляделся вдаль и спросил:

— Ну, что, видишь теперь?

— Ничего не вижу, Фрол Иванович, — признался Заблукаев.

Юбин покачал головой:

— Эх, Левка, Левка... Помнишь мои слова-то? Вот теперь и мерекай.

— Да какие слова-то, Фрол Иванович? — удивлялся Заблукаев.

— Экое дубье ты, Левка! — наругался на него Юбин. — Видишь Его? Вон Он!

Заблукаев посмотрел, куда указывал Юбин, но ничего, кроме огромной равнины на горизонте, не узрел.

— Эх, дурандай! — в сердцах произнес Юбин. — Стойка здесь, я вот трубу озорную принесу.

И он исчез — а Заблукаев проснулся. Странное чувство оставил в нем этот сон — кажется, нечто запредельное

показалось ему на мгновение, но он так и не понял, что это было. Только смутная догадка явилась ему, но он решил подождать, пока Юбин не вернется с подозрной трубой. С той ночи он стал ждать возвращения Юбина, однако тот все не являлся.

Росту популярности «Правила» помогли и совершенно непредвиденные обстоятельства. Одним июльским днем город жужжал от немыслимой новости: в самом его центре, на глазах многочисленных свидетелей, в популярном летнем кафе были расстреляны редакторы двух самых известных тарабарских газет — «Пдавого дела» и «Вубежа».

Ни у кого не возникло ни малейших сомнений в том, что они были устранены Тайным департаментом и что убийство политическое. Такое в прошлом уже случалось: три вожака тарабаров в эмиграции в разное время простились с жизнью в результате покушений. Однако никто и не подозревал, что уже через несколько дней обе газеты, возглавлявшиеся погибшими редакторами, объявят о своем закрытии. Оказалось, что дела у них давно шли плохо: подписка падала, спонсоры один за другим отказывали от финансирования. Гибель влиятельных журналистов повлекла за собой гибель двух влиятельных изданий. Эти газеты были самыми успешными конкурентами «Правила».

И Заблукаев расцвел. Он даже не откликнулся на смерть коллег. Ему было некогда. Он договаривался об увеличении тиража: число подписчиков после закрытия тарабарских газет беспримерно возросло. У него не было времени удивляться, почему его хотят читать тарабары. Он давно перестал обращать внимание на то, кто составляет его читательскую аудиторию.

Не задумывался он и о риске для своей жизни — не потому, что погибшие были тарабарами, а он сам тарабаром не был, а потому, что с некоторых пор Заблукаев поверил в свое бессмертие. По непонятной причине он знал, что убить его может только слово — острое, зато-

ченное. И не из народного языка должно быть оно — слишком жидок был этот псевдоязык, — нет, слово это должно было быть взято из старых книг. Да, только там возможно было отыскать такое пронзающее, как дротик, слово, обладающее страшной поражающей силой, слово-боек, слово-чекан, слово-кистень. И найдутся ли такие воины среди всех этих тарабаров да лингваров-болтунов, которые могут обнаружить это забвенное слово-кладенец? Заблукаев понимал, что, возможно, недооценивает своих противников, но не мог отказать себе в злорадстве — нету здесь любителей старых книг, да и самих старых книг нет здесь, все остались на родине.

За заботами о газете, за лихорадочной выплавкой статей-пуль пролетели еще два заблукаевских года. Однажды он, случайно глянув на календарь, понял, что сегодня очередная годовщина смерти Горфинкеля, и поразился тому, как быстро забыли неумного старика. Сочинения его ветхой глыбой пылились в углу, многие рукописи и переписка были рассована по ящикам и задвинуты в глубокие шкафы. Заблукаев понимал, что когда-нибудь все это станет вновь востребовано, однако сейчас в это верилось с трудом.

Юбин все не возвращался: видимо, подзорная труба лежала где-то очень далеко, а может, задержался Юбин по каким-то своим особенным делам. Но Заблукаев каждый вечер, ложась в постель, готовился увидеть страшную равнину. Ко сну этому требовалось долгое предуготовление, и Заблукаев знал, что Юбин просто выжидал, когда он окажется готов к нему. И Заблукаев готовился.

Удалось ему и восстановить большую часть историй из утраченного сборника о немтырях. Он опубликовал некоторые из них, самые, на его взгляд, важные, но присовокупил, что в этих сделанных по памяти публикациях отсутствует главное — язык. Цепкая память Заблукаева помнила факты, помнила канву и сюжет, но язык... Заблукаев не мог упомянуть речевых особенностей всех рас-

сказчиков, и поэтому все истории утратили индивидуальность. Заблукаев сожалел об этом, но отказаться от публикации рассказов не мог — этого не позволяло ему чувство справедливости.

Тогда же неожиданно произошло и то, о чем когда-то предупреждал его Девель. Однажды Заблукаев сидел в своей конторе, готовя очередной номер. Сквозь закрытую дверь доносились до него голоса сотрудников, телефонные звонки. Вдруг послышался шум, возмущенный крик, дверь отворилась, и в кабинет вступил одетый в черный плащ высокий человек в окружении троих еще более высоких. Не спрашиваясь, человек сел в кресло, а три его гигантских спутника окружили кресло. Некоторое время прошло в молчании. Заблукаев рассматривал человека, а человек — Заблукаева. Человек не знал, что Заблукаеву уже известно, кто он такой. Заблукаев понял это сразу, моментально припомнив свой разговор с Девелем. Только один человек в эмиграции мог так вламываться в закрытые двери. Только один человек в эмиграции считал, что ему позволено все, потому что он — Мессия. И поэтому, когда человек нарушил молчание и довольно приветливо произнес:

— Добг'ый день, Лев Павлович. Я — Г'оманов. — Заблукаев уже знал, что он Гоманов, и просто ожидал продолжения.

Не дождавшись от него приветствия, Гоманов продолжил:

— Я давно хочу с вами погово'ить. Вы очень интег'есный человек, Лев Павлович.

— И очень занятой, — сказал Заблукаев просто. — У вас какое-то срочное дело?

Гигантские спутники Гоманова переглянулись, видя такое непочтение.

— У меня дело к вам, Лев Павлович, — кивнул Гоманов.

Заблукаев рассматривал его. Почему-то Гоманов раньше представлялся ему человеком небольшого роста, лы-

соватым, с бородкой, с хитрым прищуром. В действительности он оказался высоким, отчего казался сутуловатым, носил длинные светло-русые усы и окладистую бороду и смотрел на мир веселыми ярко-голубыми глазами. Он производил впечатление искреннего и добродушного человека, с которым как-то не вязались его мрачные спутники.

— Да, у меня к вам дело, — повторил Гоманов. — Я ваш внимательный читатель, Лев Павлович. Особенно тепе́г, когда пг'оизошла эта тг'агедия, когда убили наших сог'атников. Ваш ум и пг'оницательность уникальны и вполне соответствуют вашей популя́гности у масс.

— Да? — очнулся Заблукаев, уплывший мыслями к очередной своей статье. — Так в чем состоит ваше дело?

— Я хотел бы пг'едложить вам, — сказал Гоманов, — объединить наши усилия. Видите ли, Лев Павлович, на г'одине готовятся великие события, и мы хотим пг'инять в них самое живое участие. Не стану скг'ывать от вас, что наме́г'ен взять на себя г'уководство этими событиями. У нас есть для этого силы, есть сг'едства. Мы хотим пове́г'нуть ход исто́г'ии.

— Да? Ну, и что же?

— Я хотел бы, чтобы вы пг'и этом были на нашей сто́г'оне.

Заблукаев уже понял, к чему клонит этот человек с открытым лицом. Но ему хотелось, чтобы тот поговорил еще. Заблукаев никогда не видел мессий так близко.

— Вы хотите, чтобы я был на вашей стороне, — повторил он, понуждая Гоманова продолжать.

— Именно так. Нам нужны люди, гово́г'ящие на языке интеллигенции. Видите ли, Лев Павлович, наг'од и так за нас. Но не весь. Есть еще люди, кото́г'ые не уве́г'овали в Цаг'ство Истинного Языка. Их нужно убедить. Вот об этом я хотел пг'осить вас. Но пг'ежде, чем вы ответите, скажите, Лев Павлович, ве́г'ите ли вы сами в то, что Цаг'ство Истинного Языка близко? Я внимательно читаю

вашу газету: вы пишете об этом в каждом номере. Но, может быть, я ошибся?

Такого поворота Заблукаев не ожидал. Пока Гоманов говорил, он чертил что-то на бумажке и думал о статье. Прямой вопрос застал его врасплох.

Заблукаев не умел отвечать обиняками. Он был слишком моралист для этого, слишком проповедник. Пророки могут ответить метафорой, но никогда не покривят душой и не уйдут от ответа.

— Вы, кажется, говорили тут что-то о Царстве Истинного Языка, — произнес Заблукаев. — Позвольте признаться вам — я тоже внимательно слежу за вашими выступлениями. И мне очень жаль, что вы потеряли трибуну. Потому что мне все невдомек, какой язык вы считаете истинным. Если вы о правильном языке, то я действительно чаю его царства, однако наступит оно, ох, как не скоро.

— Истинный язык — язык наг'ода, — произнес Гоманов как-то заученно.

Это не прошло мимо Заблукаева, и он ответил, чувствуя, как начинает раскалять его этот разговор:

— Нет, господин Романов, — позвольте уж мне, на правах неудачливого логопеда, вас так называть, — вы, кажется, что-то неправильно поняли в моих статьях. А вот я вас понял. Вы хотите, чтобы настало Царство Истинного Языка — но вам уже не нужно этого добиваться. И знаете почему? Потому что оно уже настало! Он, этот ваш истинный народный язык, уже звучит вокруг. Он заполонил собою все, он везде, на нем издают газеты и пишут романы, на нем говорят дети, взрослые и старики, на нем скоро введут обучение в школах. И не только здесь — там тоже. Он, ваш истинный язык, нашел себе приверженцев даже в среде логопедов и успешно проник на самые высшие уровни власти. Речеисправительная система не оправдала себя и скоро падет, я в этом уверен, — и тогда на пути вашего истинного языка не останется никаких препон. Так что вы поклоняетесь не грядущему богу, Романов, а уже

утвердившемуся. Он давно установил здесь свое царство. Вы поклоняетесь настоящему властителю этого мира.

Тут один из гигантов не выдержал и шевельнулся.

— Дуководитель, — пробасил он хрипло, — дай я шлепну его из девольведа.

Эти слова навели Заблукаева на новые размышления, и он живо спросил у Гоманова, который как-то скис в своем кресле:

— И кстати, разве не верят ваши подопечные, что Дуководитель должен гундосить? А вы картавите. Тут что-то не так, Романов.

Да, слишком долго Заблукаев ждал этого разговора, слишком давно готовился к нему, слишком долго копились в нем слова и фразы.

— Вы смег'ти не боитесь? — тихонько шепнул Гоманов.

— А вы слово нашли? — спросил в ответ Заблукаев.

Гоманов непонимающе нахмурился.

— Ну вот, и слова у вас нет, — удовлетворенно произнес Заблукаев. — Откуда вы его возьмете. Вы ведь старых книг не читаете. А страшные слова только в них скрыты. Убийственные!

Гоманов, похоже, уже понял.

— Я вас понял, Лев Павлович, — подтвердил он вслух, поднимаясь. — Имейте в виду: когда наступит Цаг'ство Языка, мы с вами сочтемся.

— Я знаю, — просто сказал Заблукаев и вдруг, еле сдерживая нахлынувшую радость, крикнул мимо Гоманова и его огромных спутников: — Надя! Не пускай сегодня ко мне больше никого! Мне статью нужно дописать!

Глава девятая

— Что он делает?!

Этим вопросом задавались все логопеды, большие и малые, в поднявшемся переполохе. Куприянов выступал

теперь по телевидению каждый день, и каждый день оглашались все новые и новые указы. И что ни день волнение в логопедических коллегиях и советах усиливалось. Оно поднялось после недавнего упразднения речеисправительного ведомства, ареста его руководства и передачи функций ведомства логопедическим коллегиям, где никто не понимал, как их осуществлять. При коллегиях были спешно созданы курсы «по устранению выявленных речевых недостатков», но они были малоэффективны, что признавали сами логопеды. Все больше и больше кандидатов с кое-как исправленными речевыми дефектами начали занимать партийные должности.

А Куприянов выступал каждый день. Он официально объявил о реабилитации Тарабрина, великого реформатора, а себя обозначил как преемника его курса. Были наконец опубликованы подробности случившегося с Тарабриным. Оказалось, что мятежный генерал-прокурор кончил трагически: его поместили в один из самых закрытых исправдомов, где он скончался через шесть лет после смещения с должности. К тому времени, как гласили опубликованные документы, он почти совершенно утратил речь и стал немтырем. Весть об этой ужасной судьбе, без сомнения, повлияла на скорейшее принятие указа об освобождении всех безвинно пострадавших от курсов исправления речи, как теперь официально стало принято именовать немтырей. Тысячи их вышли на свободу и заполнили улицы. Народ смотрел на них с жалостью. Им негде было работать: в указе не предусматривалось никаких мер по социальной реабилитации. Партия приняла экстренные меры — на некоторые должности, чаще всего административные, немтырей стали принимать вне конкурса и без прохождения логопедической проверки. Однако ситуации это не исправило, поскольку многие немтыри утратили не только речевые способности, но и навыки жизни в обществе. Начала расти преступность.

Слова Куприянова о необходимости многопартийной системы в один прекрасный день обернулись делом. Следующим шагом после реабилитации Тарабрина стал призыв Куприянова к «действующим общественным движениям и организациям» формировать партии. Поскольку, кроме тарабаров и лингваров, никаких «общественных движений» в стране не было, они первыми и откликнулись на призыв генерал-прокурора. На следующий же день активистами-тарабарами была зарегистрирована партия «Истинно-Надодное Дело». Лингварская Партия Языка возникла несколькими днями позже.

Перед Высокой Управой встал вопрос — насколько легитимны эти партии, против которых выдвинуты официальные обвинения в орфоэпических преступлениях? И Куприянов решил этот вопрос очень просто: особым указом была объявлена амнистия всем тарабарам и лингварам, обвиняемым по орфоэпическим делам. Прежде переполненные тюрьмы опустели. На родину вернулись из эмиграции вожаки тарабаров, среди них — Дуководитель Гоманов. Он прибыл в запечатанном вагоне. На вокзале он произнес речь перед собравшимися, объявив о том, что Царство Истинного Языка вот-вот наступит. Поползли слухи, что он шпион иностранных разведок.

Ужас и паника в логопедических органах не поддавались описанию.

— Что он делает?! Это же конец всему!

Отмечали усилившуюся гундосость Куприянова, изумлялись:

— Кто пропустил? Это волк в овечьей шкуре!

На этом фоне определенным диссонансом звучали выступления Ирошникова. Отмечая, что страна встала на путь демократических перемен, главный логопед подчеркивал важность основных орфоэпических законов и определяющую их роль в сдерживании языковой деградации. Ирошников выступал никак не реже Куприянова, и оба не уставали повторять подчеркивать важность реформ и со-

хранение основных законов. При этом Куприянов с некоторыми оговорками допускал пересмотр законодательства и правку отдельных статей, а Ирошников, словно пытаясь удержать позиции, раз за разом требовал сохранения всего корпуса языкового законодательства, который, по его словам, является главным правовым инструментом сохранения языка как будущего страны.

Внутри касты начала формироваться оппозиция Ирошникову. Ее движущей силой был Страхов, поддерживаемый консервативным крылом. Оппозиционеры хотели назначения на пост главного логопеда кого-нибудь из Мезенцевых, которые традиционно придерживались консервативных взглядов. Страхов ратовал за созыв широкой ассамблеи, где кандидатура нынешнего главного логопеда будет поставлена на голосование. После каждого нового выступления или указа Куприянова сторонников созыва ассамблеи внутри касты становилось все больше.

На этом фоне руководству логопедии нужно было срочно бороться с главным обвинением внутренней оппозиции — в том, что впервые за много лет Партия невозбранно назначает своих кандидатов на должности, а следовательно, логопедия как институт фактически перестала существовать. Ирошников понял, что своими силами организовать речеисправление не удастся, поэтому необходимо привлечь к делу старые кадры. Но привлекать следовало только тех специалистов, против которых не выдвигалось обвинений в злоупотреблении служебными обязанностями.

Таких было много, но практически все речеисправители после разгона ведомства затаили обиду на власть. Этот лед необходимо было разбить. Но кому было поручить эту нелегкую задачу? Времени на раздумья у Ирошникова не было. Среди логопедов был один-единственный человек, досконально знавший проблему. Этим человеком был Рожнов. Ему-то особым поручением и было приказано заняться быстрым рекрутированием незапятнанных речеисправителей.

Рожнова приказ ошеломил. Ему давно было ясно, что он в своем рвении разделаться с речеисправительскими злоупотреблениями наделал. Но падение ведомства произошло так скоро и так неожиданно, что он не понял, виной ли тому его рвение или обстоятельства и без его вмешательства сложились бы для речеисправителей столь же несчастливо. Одно он понимал — ликвидация ведомства принесла и еще принесет разные беды. Цепь логопедических проверок потеряла одно, совершенно незаменимое, звено. Вместе со всеми он ломал голову над тем, чем можно его заменить, и приходил к страшному выводу: касте логопедов, да что там — всей политической системе страны — нанесен беспримерный удар, и последствия этого непредсказуемы.

Поначалу он не мог себе представить, как можно начать наводить мосты. Эти люди потеряли все. В один момент их лишили должностей, льгот, чинов, против некоторых были заведены уголовные дела. Многие в ожидании следствия сидели под домашним арестом. Рожнов знал, сколько речеисправителей числили его личным врагом. При таких обстоятельствах его посольство воспримут как оскорбление. Но ничего другого ему не оставалось, и он скрепя сердце поручил составить список людей, которых прежде всего планировалось привлечь к работе. Визиты он решил наносить лично, без помощников — ведь на инспекции он когда-то приезжал не один и сейчас не хотел, чтобы у бывших речеисправителей возникали нежелательные ассоциации.

Свой объезд он начал со старого портового квартала, где дома чередовались со складами, лавками и крошечными неприветливыми кабачками. Рожнов приткнул машину у какого-то ветхого строения, перешел площадь, превращенную в рыбный рынок, и зашагал по улице, уставленной длинными темными, суровыми домами.

Внезапно из какого-то подъезда появились трое и перегородили ему дорогу. Двое, оба верзилы, были в черных ватниках и бесформенных кепках. Лица их поражали какой-то одинаковой безгласной бессмысленностью. Третий, небольшого роста человек, был в куцем пальто и мятой шляпе и чем-то напоминал уличного актера — может быть, лицом, худым, горестным и очень выразительным. Этот человек шагнул к Рожнову и ткнул ему небольшой плакатик с надписью: «Деньги давай!»

Двое верзил как по команде показали Рожнову короткие моряцкие ножи.

«Немтыри!» — подумал Рожнов, делая шаг назад. В последнее время много их от отчаяния занялось разбойничьим промыслом. Он не испугался, но едва подавил в себе желание оглянуться, которое могло бы быть воспринято как сигнал к атаке.

— Ребята, — негромко произнес он, зная, что его не слушают, — может, поговорим?

Бессмысленные лица не изменились, и неизвестно, чем бы это кончилось, но тут человек, похожий на уличного лицедея, видимо, вожак, неожиданно вытолкнул из себя странный короткий звук — вопль изумления. Он взглядывался в Рожнова, будто узнавая, а потом стал быстро писать что-то прямо на плакатике, поперек грозной надписи. Он протянул плакатик Рожнову, и тот прочитал: «Юрий Петрович! Это вы?»

Двое в кепках непонимающе переглянулись.

— Я, — подтвердил Рожнов.

«Простите, ради бога! Я вас не узнал! Я Федосов, вы меня не помните!» — быстро чертил человек, уснащая каждую фразу восклицательным знаком.

— Не помню, — с виноватой улыбкой ответил Рожнов.

«Я знаю, вы не можете меня помнить! Вы были у нас с проверкой! Нас недавно выпустили, а директора исправдома посадили!»

— Какого исправдома? — спросил Рожнов, краем глаза наблюдая за движениями двух других немтырей: тем, видимо, не нравилось, что их подельник вступил в какие-то переговоры с жертвой. Но ножи они спрятали.

«Широковского! Я там восемь лет пробыл, а эти еще больше! Вы нас извините!!!» — быстро писал человек.

— Ничего, ничего, — произнес Рожнов.

Двое других начали приближаться, но их вожак повернулся к ним и издал низкий неопикуемый рык. Последовал странный диалог, состоящий из чудовищных звукосочетаний — гука, рокота, рычания, мява. Верзила брызгали слюной, и все трое размахивали руками. В конце концов, вожаку, по-видимому, удалось что-то втолковать им: они замолкли и стали смотреть с уважением. Вожак повернулся к Рожнову и написал на плакатике: «Они совсем безумные, очень долго сидели! Уходите сейчас, они вас не тронут!»

— Спасибо, — со всей искренностью поблагодарил его Рожнов и, медленно обойдя парочку, стал удаляться. Один раз он, не вытерпев, оглянулся: двое с тем же бессмысленным выражением глядели ему вслед, а Федосов тянул их за локоть, чтобы они следовали за ним в противоположную сторону. Рожнов, сдерживая себя, дошел до нужного дома — его номер он увидел еще с прежнего места — и бросился в подъезд. Кажется, те не заметили, куда он скрылся.

Речеисправитель жил на последнем этаже. Лифт не работал, но Рожнов со стремительной легкостью, подстегиваемый недавней жутковатой встречей, преодолел все лестничные площадки и очутился перед массивной двойной дверью. Он свесился над перилами: в подъезд за ним никто не вошел. Кажется, не уследили. Рожнов позвонил.

Через какое-то время дверь наполовину открылась, и в проеме возникло небритое лицо со скучными глазами и огромной нижней челюстью.

— Мне бы Пунгвина Василия Мелентьевича, — спросил Рожнов.

Человек обвел его взглядом.

— Ну, я Пунгвин, — произнес он так зычно, что эхо отдалось в подъезде.

— Я Рожнов, — просто сказал Рожнов.

Пунгвин уставился на него, двигая своей громадной нижней челюстью, которая оказалась очень подвижной. Наконец посторонился и открыл дверь шире.

— Проходите, — зыкнул он. Видимо, Василий Мелентьевич просто не мог говорить тише.

Рожнов вступил в квартиру. Повсюду, даже в коридоре, стояли аквариумы с рыбками. Пунгвин двигался меж ними, как огромный морской окунь. Но это была невероятно громкая рыба: каждое слово Пунгвина тяжким громом отдавалось в ушах.

— Садитесь! — прогремел он, вполне мирным жестом указывая на втиснутый меж двух громадных аквариумов стул.

Рожнову показалось, что речеисправитель плохо слышит, и он, немного повысив голос, начал рассказывать о целях своего визита, но тут Пунгвин грянул:

— Что вы кричите? Я вас прекрасно слышу.

— Простите, — сказал оглохший Рожнов. По обе стороны от него любопытные пучеглазые рыбы прижались мордами к стеклу, разглядывая незнакомого посетителя. — Вот, собственно, зачем я здесь. Вас зовут назад. Вы нам необходимы. Обстановка очень сложная.

— Понадобился, значит? — протрубил Пунгвин на такой ноте, что Рожнову захотелось зажать уши. Пунгвин это заметил. — Это у меня голос такой, — пояснил он децибелом ниже. — Бывало, как крикну в полную мочь — люди на пол садятся.

— Кандидаты? — решил уточнить Рожнов.

— И кандидаты тоже. Которым речь надо было исправлять, те быстро исправлялись. Чуток пообщаемся — и все, народ начинает говорить по правилам. Времена сознательные были.

Пунгвин задумался о тех давно ушедших временах, а потом неожиданно предложил чаю. Рожнов отказался.

— А я вот сейчас все больше с рыбами общаюсь, — поведал Пунгвин. — Они-то сами молчат, но слушают. Молчать полезно. Никогда не ошибешься, если будешь молчать. А то знаете, какое время настало: теперь один закон, а завтра — другой. Сегодня сказал слово, и ничего. А завтра брякнул что-нибудь — и привлекли тебя.

Во время этого монолога вода в аквариумах от звуков пунгвинского голоса дрожала, и рыбы выписывали в этой дрожащей воде нервные эллипсоиды.

— Василий Мелентьевич, — сказал Рожнов, — вы перед законом чисты. Нам ваш опыт необходим. Создается новая служба, и дело это срочное. Опытные специалисты требуются как воздух.

Речеисправитель подумал.

— У меня троих друзей посадили, — сообщил он. — А они свой долг выполняли. Сейчас сидят.

— У нас просто так не сажают, — сказал Рожнов.

— У нас и просто так сажают, — ответил Пунгвин, — и не просто так.

Дело, кажется, осложнялось. Рожнов попробовал по-другому.

— Если вы уверены, что они не виновны, я обещаю вам, что добьюсь пересмотра их дел.

Пунгвин задумчиво жевал челюстью.

— Но если, — продолжил Рожнов, — выяснится, что они преступили закон, то мне сделать ничего не удастся. Тут я, извините, бессилён.

— А сколько жалованья положите? — вдруг спросил Пунгвин, выйдя из раздумий.

Рожнов тут почувствовал, что не только Пунгвин — все рыбе население квартиры в ожидании уставилось на него сквозь стекла аквариумов. Все они взвешивали в уме, сколько корму прибавится да купят ли аквариумы попросторнее, а то в этих уже жизни не стало.

— Чины и привилегии вам вернут, — ответил он с осторожностью, — и жалованье назначат соответствующее.

Пунгвину, видно, цифры были не нужны: сообщение о чинах он встретил с просветленным лицом.

— И чины вернут! — прогудел он удовлетворенно. — А начинать-то когда?

— Мне еще со многими нужно переговорить, — ответил Рожнов. — Все зависит от них. Вот если бы вы...

— А что я? Позвонить кому разве.

— Вы бы очень этим помогли, Василий Мелентьевич.

— Ну, это разве помощь? — проворчал добродушно Пунгвин. Сообщение о возвращении чинов и привилегий растопило лед в его сердце. — Люди-то сидят по домам да думы думают. Позвонить им ничего не стоит, а звонку они будут рады. Что сказать-то им — чтобы возвращались?

— Скажите, чтобы возвращались.

— А что, сказать, что чины вернут?

— Да, скажите и это.

— Этому они обрадуются. Ведь несправедливость сотворили, — проревел Пунгвин, в упор глядя на Рожнова.

Рожнов взгляд выдержал.

— Но несправедливость и вы творили, — тихо сказал он.

Пунгвина эти тихие слова разволновали, он шумно задышал.

— Людишки слабые приходят, — прогремел он. — Их и пальцем-то тронуть страшно, не то что слово поправить. Поправишь им слово — а они, глядишь, уже без сил лежат.

— Переусердствовали, — тихо упрекнул Рожнов.

— Да я-то что? — взревел Пунгвин, и рыбы попрыгали в норы и щели от этого ужасного голоса. — Я тихо-нечко. И не рукоприкладствовал никогда. Я понимаю, что важные кадры.

— Вы-то да, Василий Мелентьевич. О вас и речи нет.

— Ну ладно, ладно, — устало вздохнул Пунгвин и вдруг просиял. — А правда чаю не хотите? Эх, отметить бы!

— Не время еще, — произнес Рожнов и поднялся. — Мне еще со многими говорить. И вы переговорите, хорошо, Василий Мелентьевич?

— Да сегодня же, — оглушительно пообещал Пунгвин, прижав руку к сердцу.

За неделю Рожнов встретился с десятками бывших речеисправителей. Уже в разговоре с Пунгвиным он понял, что его коллегами могут руководить и меркантильные побуждения. Это подтвердилось в дальнейшем: сообразив, что теперь они нужны позарез, речеисправители ударились в требования. Одни требовали повышенного жалования; другие — восстановления отнятых льгот; третьи — официальной бумаги о реабилитации; четвертые — возмещения морального ущерба; пятые — еще чего-нибудь. И Рожнову приходилось говорить каждому, что просьба будет рассмотрена должным образом. Под конец он набрал столько обязательств, что они стали сниться ему по ночам в виде скользких, но крепких водорослей.

Одновременно помощники Рожнова рекрутировали незапятнанных речеисправителей в регионах. Вербовщиков не хватало даже на ближние к столице области, не говоря уже об отдаленных регионах. Поэтому решено было кинуть клич на всю страну: речеисправители, которые не находились под следствием и не подозревались в злоупотреблениях, могли вне очереди занять должность в новой службе.

Но и это не принесло скорых результатов. Рожнову доносили об огромных очередях кандидатов, о ропоте, о недовольстве руководства Партии. Логопеды, похоже, сообразили, чем обернулась ликвидация непопулярного речеисправительного ведомства, и всеми силами давали задний ход принятому решению. Напряжение между Советом логопедов и Управой опять стало нарастать.

Рожнов одну за другой писал тревожные докладные. Он писал о том, что создание новой службы затягивается, что в ожидании работы новых речеисправительных курсов

прием кандидатов приостановлен, и это вызывает ропот и недовольство в их рядах. Все больше и больше кандидатов примыкают к тарабарам и становятся членами «Истинно-Надодного Дела». Все больше голосов раздается за проведение многопартийных выборов или референдума о проведении всенародного съезда. «Такие многопартийные выборы в нынешней ситуации, когда Партия крайне непопулярна, — писал Рожнов, — приведут к ее полному проигрышу и, как следствие, к крушению всей политической системы страны». «Необходимо всеми силами противостоять, — писал Рожнов далее, — усиливающемуся курсу Партии на необдуманную демократизацию, отмену ряда языковых законов, подрыв и ослабление логопедии как института». «Партия, — подчеркивал Рожнов, — и лично обер-прокурор Управы Куприянов — под видом либеральных реформ проводят курс на усиление политической роли и наращивание организационной мощи за счет уступок в части языковой политики. Фактически на своем пути к абсолютной власти Партия готова расстаться с установленными языковыми правилами и принять “народный” язык в качестве официального. Проводимое сближение с нами является таковым лишь внешне. На деле эти тесные объятия означают не дружбу, а стремление задуть, избавиться от давней преграды. Таким образом, язык, его красота и правильность Партии безразличны. Там, где выбирать нужно между правильным языком и возможностью назначения “хороших организаторов” из народа на партийные должности, Партия без обиняков выбирает хороших организаторов».

Рожнов писал это, даже не надеясь на реакцию. Никакой реакции на эти докладные и не последовало. События неудержимо катились вперед. Страху и его союзникам удалось продавить созыв ассамблеи, и Ирошникову пришлось готовиться к битве. Заседания Совета логопедов проходили ежедневно, и все они были посвящены грядущей ассамблее. Рожнов сутками пропадал на работе: ему

было поручено создать и запустить новую речеисправительную службу в кратчайшие сроки. Логопеды совсем перестали интересоваться внешним миром и полностью погрузились в полную лукавств и хитростных сплетений внутреннюю жизнь касты.

Между тем рядом творилась другая жизнь — жизнь Партии. В глубинах партийного аппарата функционеры разного рода и веса тоже писали докладные. В них они почти теми же словами, что и Рожнов, настаивали на невозможности проведения выборов. Обнаруживая завидные познания в области рыночной терминологии, малые и большие функционеры писали о том, что если рассматривать многопартийную систему как капиталистический рынок товаров, а политические партии как продукты потребления, то в этих условиях бросается в глаза полная неконкурентоспособность Партии. Из их мыслей можно было вывести, что по всем параметрам — качеству, упаковке, сроку годности и запрашиваемой стоимости — Партия проигрывает своим конкурентам — новосозданным политическим движениям. На нынешний момент руководство выбрало один путь выхода из этого кризиса — путь политических реформ, которые ведут к изменению роли и образа Партии в глазах граждан. «Однако этот путь, — писали трезвомыслящие, консервативно настроенные партийные функционеры, — невозможен без реформирования всей политической системы страны, что крайне нежелательно. Поэтому целесообразно пойти по другому пути — консервировать, пока не поздно, существующую систему, не восстанавливая, однако, обременительного института речеисправителей. Это значительно ослабит логопедические органы и будет способствовать беспрепятственному призыву подходящих кандидатов. Для того же, чтобы снять возросшее напряжение в обществе и выпустить демократический пар, необходимо созвать всенародный съезд народных представителей, на который пригласить депутатов всех так называемых партий. Ограниченное число реше-

ний, принятых съездом, претворить в жизнь, остальные решения рассматривать в ходе других всенародных съездов, которые необходимо проводить регулярно, раз в три года или пять лет».

В отличие от докладных Рожнова докладные партийных функционеров принимались и рассматривались, на них ставились соответствующие резолюции, и утвержденные документы шли в разные стороны: какие-то — вбок, какие-то — наверх, а какие-то спускались вниз для исполнения низовыми отделами и органами. Те, которые шли вбок, рассматривались и направлялись наверх, но по другому направлению, а те, что сразу шли наверх, рассматривались сразу, но вниз спускались не немедленно, а через какое-то время и не обязательно направляющей стороне. Те, которые были сначала отправлены вбок, а потом пошли наверх по другому направлению, рассматривались в рабочем порядке, как и те, которые сразу шли наверх и спускались вниз по любому направлению, сваливаясь на исполнителей как снег на голову. Этот стихийный документооборот, возникший внутри партийного аппарата в результате приступа неумного бумаготворчества десятка совестливых функционеров, привел к тому, что где-то очень высоко — даже не там, куда уходили докладные, отправленные наверх, а гораздо выше — было принято положительное решение о созыве внеочередного первого всенародного съезда народных представителей для обсуждения наболевших политических проблем.

Таким образом, в одно и то же время бок о бок шли приготовления к двум важнейшим событиям политической жизни страны — ассамблее логопедов и всенародному съезду народных представителей. Тайной это не стало. Но если Партия никак не могла повлиять на исход ассамблеи, то логопедия — по срокам съезд должен был состояться раньше ассамблеи — твердо решила выставить на него своих представителей. В их число вошли и консерваторы, и либералы, и было похоже, что съезд обещает стать

полем сражения не только логопедов с Партией, не только Партии с другими новоявленными партиями, но и логопедов между собой.

В ожидании такого небывалого зрелища страна перестала выключать телевизоры.

Подготовка к съезду прошла удивительно быстро. Както само собой вышло, что организацию всех мероприятий взяли на себя Управа и партийные органы на местах. Поэтому представителей Партии среди народных представителей, выдвинутых на съезд, было больше всего. Отбирались самые проверенные, с партийным стажем не менее пятнадцати лет. Списки других партий были существенно урезаны: несмотря на объявленную ранее амнистию, на съезд не попали те, кто имел за плечами срок или ранее был под следствием за нарушение языкового законодательства. Таким образом, большинство активистов оппозиционных партий в съезде не участвовали.

На первом заседании был избран председательствующий, Фефелов, один из старейших партийных функционеров: Управа желала установить контроль над съездом с самого начала. Фефелов был стар, глуховат и медлителен. Несколько часов утверждали регламент, состав президиума, проверяли табло голосования. Фефелов громко пробовал микрофон, произнося почему-то:

— Ать-два! Ать-два!

Потом слово было предоставлено народным депутатам, и на трибуну поднялся первый выступающий, Обоимов, тоже член Партии и председатель передового колхоза. Он раздельно прочел по бумажке приветствие участникам съезда, отметил важную роль таких собраний в дальнейшей демократизации страны и общества, а потом предоставил слово товарищу Сироконю, чтобы тот зачитал отчет о подготовке съезда на местах.

Вот тут все и началось.

Товарищ Сироконь, видный обкомовский работник, был человек проверенный и состоял в Партии почти двадцать лет. Подготовку к съезду в своей области он провел, по оценкам вышестоящих товарищей, на «отлично», отсеяв практически всех представителей оппозиционных партий. Ни у кого и никогда не возникало сомнений в том, чтобы поручить оглашение отчета о подготовке съезда на местах именно товарищу Сироконю Ивану Афанасьевичу.

Товарищ Сироконь взошел на трибуну, долго откашливался, перебирал бумажки, а потом произнес:

— Товарищи! В этот знаменательный день хочу сообщить вам, товарищи, что я принял решение выйти из Партии по субъективным причинам. С этой минуты, товарищи, считайте меня беспартийным.

Какие субъективные причины им двигали, товарищ Сироконь разъяснять не стал, а просто вытащил свой партбилет, разорвал его на клочки перед всем собранием и объявил:

— Отчет о подготовке съезда на местах считаю оглашенным. Прошу высказываться.

Однако его однопартийцы высказываться не стали: они сидели как громом пораженные и не могли найти подходящих слов. Поэтому предложением Сироконя воспользовались немногочисленные представители оппозиционных партий, допущенные на съезд. Они взяли слово — и уже не отдавали его до конца съезда, который длился без перерыва трое суток.

На трибуну взбежал красный от волнения человек, как позже выяснилось, представитель «Истинно-Надодного Дела» Парин, и, брызгая во все стороны слюной, закричал:

— Есе выходясие из Палтии есть?

На трибуну стали гуськом подниматься многочисленные люди и молча рвать партбилеты. Члены президиума только мигали, сбившись со счета. Когда обрывки последнего партбилета улеглись на пол, Парин завладел микрофоном и произнес в зал:

— Товалиси, выносу на голосование пелеизблание нового пледседателя. Кто за?

Фефелов, когда ему громко повторили на ухо слова Парина, проговорил в микрофон, что предложение переизбрать председательствующего может быть принято только президиумом. Но его уже не слушали. В зале поднялось волнение. Только что вышедшие из Партии перебирались в ряды, где сидели оппозиционеры. Среди них было много немтырей — партийные чиновники, заведовавшие организацией съезда, посчитали, что вреда от них не будет, и пропускали немтырей в массовом порядке. Когда все передвижения закончились, оказалось, что зал поделен поровну между представителями Партии и членами двух оппозиционных партий. И взгляды устремились вверх, к ложам.

Там сидели логопеды. Здесь было все высшее руководство: Ирошников, члены Совета, председатели столичных и областных коллегий, консерваторы и либералы — все в мантиях и высоких шапках, безмолвные, как статуи. Неписанный закон запрещал им вмешиваться в прения и открытые дебаты, но это знали только члены Партии. Поэтому на ложи логопедов смотрели одни несведущие оппозиционеры. Члены Партии не удостаивали ложи ни единым взглядом: для них логопеды были тем, что и всегда, — бесполезными фигурами речи.

Но напрасно было полагать, что логопеды не смотрят в зал и не замечают устремленных на них взглядов. Ни одна деталь не ускользала от них. Когда зал разделился на две враждебные половины, тихий вздох удивления, слышимый только здесь, пронесся по ложам. Логопеды готовились к междоусобной войне, но сейчас там, внизу, ситуация разворачивалась совсем по-другому. Всегда, во все времена они считали Партию опасным союзником, дремлющим врагом, который до срока подчинялся их воле. Но вот враг пробудился и потребовал своего, и они были готовы биться с ним, биться за язык. Именно Партию

они в благоприятный момент собирались обвинить в покушении на осквернение языка. Это был бы сильный ход, практически никем не предвиденный: ведь им запрещалось вмешиваться в ход съездов и прения.

Но чью сторону взять теперь, когда перед ними оказалась не одна Партия, а три, и все в той или иной степени замахвающиеся на языковые нормы? Переизбрать Фефелова было делом нехитрым. Но кто придет ему на смену? Гнусный тарабар, террорист-лингвар, у которого в каком-нибудь закутке припрятан автомат? Какую тогда примут повестку дня? Нет, как это ни противно их убеждениям, поддержать следует Партию. Следует вмешаться в дебаты, нарушить неписанный закон. А уж потом, оставшись лицом к лицу с Партией, продолжить борьбу. И на время забыть междоусобные ссоры. В конце концов придет время и для них, и на ассамблее клинки скрестятся.

Такие мысли читались в незаметных взглядах и тайных жестах, которыми обменивались логопеды.

Внезапно для тех, кто сидел в зале, неподвижные фигуры в ложах зашевелились. Одна из них встала и величественно сошла к трибуне. Это был Ирошников. Представители Партии изумленно разглядывали его. Они не верили своим глазам: главный логопед самолично нарушил неписанные постановления и решил вмешаться в дебаты.

Речь Ирошникова была краткой. Никогда еще главный логопед не выступал перед таким многочисленным собранием, никогда еще простые люди не слышали живых слов потомка Мезенцева. Ирошников напомнил делегатам съезда об их обязанности блюсти и защищать язык.

— Помните, — раздельно говорил Ирошников, — что сохранение правильной незамутненной речи превыше партий, превыше политической борьбы, превыше споров о демократическом устройстве. Именно ему, языку, мы обязаны существованием в виде сильного государства, и нашими же законами существует он в своей незыблемо-

сти. Разомкните этот круг — и наше общество, наше государство перестанут существовать. На протяжении столетий такое государственное устройство поддерживалось Партией и нами, хранителями языка. Не будучи ни в малейшей степени против многопартийности, мы считаем, что на начальных этапах процесса демократизации Партия должна играть роль старшего брата, более опытного, более сведущего, более искусного в вопросах государственной политики.

Ирошников говорил еще, говорил о том, как важно сохранить преемственность, не начинать реформ с ломки всех старых институтов, а главное, как важно отложить пересмотр основных законов, в том числе языковых, — но с каждым его словом собравшимся становилось все яснее и яснее, что главное сейчас — вовсе не переизбрание председательствующего. Переизбрать Фефелова можно и потом. Все можно отложить — наметившееся противостояние, зажигательные речи, даже приход к власти. Но вот стоит перед ними давний общий их враг, который столько времени мешал их планам. Как будто красуясь, выплыл сейчас этот горделивый человек и принялся произносить те же речи, о чем-то напоминать, грозить законом. Давний ненавистный враг предстал перед сотнями людей, и у каждого из них был на него зуб.

И не успел Ирошников закончить речь и подняться в свою ложу, как на трибуну выскочил все тот же распаренный Парин и, блестя от возбуждения глазами, крикнул:

— Заявляю отвод плезнему пледлозению и выносу на голосование длугое. Кто за плиостановление деятельности логопедических олганов вплоть до завелсения соответствующего ласследования?

Неподвижные фигуры в ложах не пошевелились: до них еще не дошло — но тут после небольшой паузы на табло появились ошеломляющие цифры. Съезд большинством голосов высказался за расследование их деятельности и приостановление их работы вплоть до особого рас-

поряжения. Фракции проголосовали единодушно, так, будто были одной партией. Против были поданы всего три голоса, и еще четыре народных представителя воздержались.

И тогда председательствующий своим медленным старческим голосом велел логопедам покинуть зал заседаний, а когда они заявили протест, к ним в ложи поднялись приставы и вывели их из зала насильно.

Они шли по проходу между рядами кресел, фигуры в мантиях и высоких шапках, и не было ничего торжественного в их осанке. И хоть сами они еще не поняли, что это конец, то был конец.

Глава десятая

Во все глаза следил Заблукаев за происходящим на родине. Сбывались самые худшие его предсказания, а он не хотел верить своей прозорливости. Ведь изрекал свои пророчества он не затем, чтобы они сбывались, а с тем, чтобы предостеречь людей. Но вот все до единого его предсказания сбылись, а он не ощущал злорадства, не чувствовал себя победителем. Ему бы ощутить хотя бы небольшое удовлетворение, хоть строчкой заявить, что он-то предупредил, он-то говорил, — но Заблукаев испытывал только усталость и страх. Там, в стране, которую он оставил, на глазах утверждалось враждебное царство. Объявив о роспуске логопедии и ликвидации всех соответствующих служб, всенародный съезд, в котором большинство получили оппозиционные партии, продлил свои полномочия и взял на себя подготовку к парламентским выборам. Первые вооруженные стычки начались почти сразу же: части логопедической милиции не пожелали сложить оружия и подчиниться новой власти и вступили в столкновения с лингварскими дружинами, которые взяли на себя функции внутренних войск при новом режиме. Вначале разрознен-

ная, ломилиция быстро сплотилась под руководством не сложившего полномочий обер-комиссара Прозоровского и члена Исправительного комитета Страхова. Последний объявил себя новым чрезвычайным главным логопедом: Ирошников в то время уже сидел под домашним арестом, как и большинство других высших логопедов. Однако, несмотря на численное превосходство, части ломилиции были выдвинуты из столицы лингварами, которые дрались свирепо и страшно, — ими руководил вышедший из подполья брат Панцербрехер, безумный человек, просидевший в тайном погребке одиннадцать лет. Ломилиция закрепилась на подходах к столице и принялась готовиться к штурму.

Вот в такой обстановке и прошли эти выборы. Сразу после того, как были объявлены их результаты, в здание Управы вошли победители, оппозиционные партии, и попросили проигравших освободить помещение. Туда же переместился всенародный съезд, ставший парламентом. В этот день здание Тайного департамента было подожжено неизвестными, а ликующие толпы принялись громить логопедические коллегии и крушить священные статуи богини Нормы. Беспорядки были с трудом подавлены.

Старая Партия получила в парламенте три места — это был символический жест победителей. Что касается остальных мест, то оказалось, что они разделены поровну между двумя выигравшими партиями. Партия Языка немедленно потребовала пересчета голосов. «Истинно-Надодное Дело» отказалось. Тогда лингвары объявили чрезвычайное положение. Уже на следующий день столица была под их контролем, и сообщение со страной прервалось.

Но понял Заблукаев, что настало Царство Истинного Языка, не тогда, а через некоторое время, когда ему сообщили, что эмигранты-тарабары начали отбывать обратно на родину целыми составами. Власти тоже быстро смекнули, что к чему, и начали помогать им в этом добровольном возвращении. Заблукаеву тоже предложили возвра-

титься — он отказался. К нему вернулись забытые страхи, он почти совсем перестал выходить на улицу, боясь, что его заберут в репатриационный лагерь. Его газета в те дни продолжала выходить, но целыми кипами возвращали почтальоны обратно в редакцию свежееотпечатанные и разосланные номера. У газеты резко сузился круг подписчиков. Большинство их приняло решение вернуться на родину и драться с врагами языка. Среди этих возвращающихся были и тарабары, и лингвары, до этого спокойно жившие бок о бок и делившие тяготы изгнания. Теперь это были враги. Те, кто пока оставался в городе, устроили охоту друг на друга. Ни дня не проходило без сообщения, что найдены очередные тела с огнестрельными ранениями. Внезапные перестрелки в самом центре города стали обычным делом, полиция сначала безуспешно пыталась разобраться, а потом решила сменить тактику, и по домам эмигрантов прошли рейды. Десятки людей целыми семьями были насильно отправлены в репатриационные лагеря и высланы на родину.

Заблукаев и сотрудники газеты под эти репрессии не попали: они были на особом положении. Но перед ними встала другая проблема — как сохранить подписчиков. Ведь, как ни странно, Заблукаев оказался в зависимости от них, этих носителей враждебного языка, дикарей, среди которых он сеял истинное слово. Они читали его. Теперь их не осталось. Его подписчики жили и в других европейских странах, но и там люди внезапно снимались с места и возвращались на родину.

Однажды утром, когда Заблукаев сидел у себя в кабинете и раздумывал, как лучше объявить спонсору о сокращении тиража, секретарша сообщила, что к нему явился визитер. Заблукаев в последнее время принимал всех посетителей: все равно к нему сейчас редко заглядывали, а польза от посетителей, как он сообразил, могла быть. В кабинет вошел полноватый уверенный улыбчивый человек, одетый как европеец. Заблукаев предложил садиться.

— Вы, наверняка, меня не знаете, — произнес визитер приятным голосом. — Но так случилось, что я прекрасно знаю вас. Я один из ваших самых внимательных читателей. Вы, наверное, помните Девеля Евгения Леонидовича? Я его заместитель. Моя фамилия Закревский, Виталий Николаевич.

— Чем могу? — коротко спросил Заблукаев.

— Вы, наверное, не ожидали видеть здесь логопеда, — сказал неожиданный гость, оглядываясь. — Я, знаете ли, и сам...

— Как здоровье уважаемого Евгения Леонидовича? Закревский откашлялся.

— Когда я видел его последний раз, было ничего. Он, знаете, весьма бодро собирался драпать, как и все мы.

— Неужели драпать?

— Вы что же, ничего не знаете? Ах да, вести сюда не доходят. Я бы сказал, обстановочка просто швах. Нас фактически объявили вне закона. В городе люди в шкурах, натуральным образом в шкурах — они спустились с гор, где прятались от нас, и теперь ищут логопедов.

— Лингвары? — заинтересовался Заблукаев.

— Никто не знает. Никто не разбирает, кто среди них кто. Я успел навести кое-какие справки — среди них много немтырей, они охотятся за речеисправителями. Но если им попадается логопед, то и ему достается. Они считают, что мы все поддерживаем Страхова.

— А разве нет?

Закревский покачал головой:

— До вас и вправду новости не доходят. Вы знаете, что много наших заявили о своей лояльности этой новой власти? Ирошников, например. Ну, его я всегда считал мерзавцем.

Заблукаев помолчал, а потом спросил:

— Так чем все-таки обязан визиту?

Закревский тоже ответил не сразу.

— Видите ли, Лев Павлович, — сказал он, — я только что с поезда, буквально всю ночь ехал. Когда поезд отправлялся, вокзал был еще под контролем наших, они управляли все поезда. Что сейчас — не знаю. Чудом вырвался. Но не в этом дело. Я здесь, чтобы выказать вам свое почтение. И хочу сказать, что сильно ошибся в вас. Мы все сильно в вас ошиблись. Вы в одиночку делали здесь то, что обязаны были делать мы. Впрочем, довольно громких слов. Хочу вас успокоить — не тревожьтесь о подписке. Скоро ваших подписчиков прибавится.

— Вот как? Вы, значит, в курсе всех редакционных дел?

— Уж так сложилось, — с улыбкой развел Закревский руками. — Я ведь был вашим куратором. Что буду сейчас делать — не представляю.

— У меня нет сомнений, что дело вы себе найдете.

— Вашими бы устами да мед пить, Лев Павлович. А издание ваше весьма известно в наших узких кругах. Политический департамент, так тот просто брал ваши статьи и без изменений пускал в дело.

— Только вот толку не видно.

Улыбчивое лицо Закревского переменялось и заострелось.

— Это все потому, — произнес он сквозь зубы, — что у власти находились изменники. Это они предали идею, проклятые иуды! Ирошников и иже с ним. Вообразите, не успели те прийти к власти, как они уже заявили о готовности им служить. Подлые негодяи! Страхов — вот настоящий герой. Сейчас он стягивает силы со всей страны. Скоро столица будет под его контролем.

— Отчего же вы не там?

— Я не военный, — поморщился Закревский. — К тому же на нас, сотрудников департамента, устроили настоящую облаву. Вообразите — к ним откуда-то попали штатные списки, с адресами, телефонами. Хорошо, что я с семьей сразу съехал. Нет-нет, у меня с самого начала не было никаких иллюзий. Вот и Евгений Леонидович, когда мы

виделись с ним в последний раз, так мне и сказал: у меня, говорит, Виталий Николаевич, совершенно не осталось никаких иллюзий. Умнейший человек.

— Я имел возможность в этом убедиться.

— А он с высочайшим уважением отзывался о вас. Когда вы, так сказать, вышли из-под нашего надзора, он так мне и сказал: умница Заблукаев, всякий на его месте поступил бы так же.

Он покивал, поулыбался чему-то своему и рывком поднялся.

— Ну, Лев Павлович, рад был знакомству. Держитесь — скоро сюда понаедет столько наших, что придется вам сделать газету ежедневной. И я немедленно подпишусь, дайте только осмотреться да пристанище найти. Очень интересно пишете, да. Ну-с, прощайте.

«Ну и ну, — изумленно подумал Заблукаев, когда за гостем закрылась дверь. — Это прямо поразительное явление. Что же там такое происходит? Нет, заместитель Девеля!»

И он, пораженный, рассмеялся.

Новости начали поступать вскоре после этого неожиданного визита. Но это были противоречивые новости, которые привозили напуганные люди. В них было не узнать прежних сановитых логопедов, больших и малых. По их словам, страна разделилась на несколько лагерей. С одной стороны были восставшие логопеды под начальством Страхова (обер-комиссар Прозоровский был убит в одном из боев). Им противостояли лингварские дружины и регулярные части, сформированные из добровольцев-тарабаров. Но между собой две победившие партии были так же в состоянии войны. По некоторым свидетельствам, все три воюющих стороны время от времени шли между собой на сговор, и тогда союзная армия лингваров и логопедов громила тарабаров, чтобы уже через несколько дней сборные части тарабаров и лингваров нападали на логопедов.

Вдобавок ко всему была еще Партия. Вначале совершенно деморализованная своим поражением на выборах, она быстро собралась с силами и кинула клич среди своих сторонников защищать единство страны. Некоторые районы полностью контролировались ее ополченцами.

Тогда же Заблукаев узнал и о вождях этой войны. Он ожидал услышать имя Гоманова: наверняка, сумасбродный Дуководитель возглавил один из враждебных лагерей. Однако, судя по единодушному свидетельству всех новопривывших, Гоманова постигла иная участь. Он погиб в те дни, когда лингвары захватили столицу, и с ним был уничтожен его штаб. К тому времени авторитет Гоманова среди тарабаров пал так низко, что этой смерти практически не заметили. Дело в том, что Гоманов уже не считался Дуководителем. Причина была проста: у тарабаров появился новый вождь, за которым пошли все. Им провозгласил себя Куприянов, бывший генерал-прокурор Управы. Когда он объявил о том, что он-то и есть Дуководитель, которому до времени пришлось скрываться, новость приняли скептически. Однако Куприянов, уже не скрывавший своей гундосости, снова и снова напоминал о своих заслугах и о том, что только ему удалось провести реформы, которые в конечном счете и установили в стране Царство Истинного Языка. Перед лицом таких заслуг вскоре не осталось никого, кто бы не признал — да, он и есть подлинный Дуководитель.

Ненависть к Купдиянову, как он стал называться, со стороны всех «бывших» не поддавалась описанию. За ним охотились и бывшие логопеды, и члены бывшей Партии, которая была к тому времени запрещена, и лингвары, и наиболее радикальные тарабары. Но у Купдиянова было одно несомненное преимущество — его громадная популярность, которой он пользовался в народе со времен своего генерал-прокурорства. Мистические идеи лингваров не привлекали к себе широких слоев населения. А вот политическая платформа «Истинно-Надодного Дела» и ха-

ризма его вождей завоевывала себе в народе все больше и больше симпатий. Войска тарабаров росли в численности. На их сторону стало переходить городское население, и в один прекрасный день тарабарские части провели успешную операцию, в течение двух дней полностью очистив столицу от ломилиции и лингварских дружин.

Новая власть особым декретом распорядилась, чтобы все логопеды, за исключением тех, кто был помещен под арест, явились на особые пункты и встали на учет. Те, кто не последует этому приказу, объявлялись вне закона. Власти обещали неприкосновенность тем, кто подчинится и объявит о своей лояльности. Многие логопеды последовали приказу, но еще больше было тех, кто тайно бежал за границу. Впрочем, поначалу власти не препятствовали бегущим и без разбора выпускали из страны всех желающих. Была объявлена амнистия для всех пострадавших от старого режима, которых призвали возвращаться из-за границы. Одновременно тысячи логопедов и бывших речеисправителей бежали за рубеж.

Их-то и увидел Заблукаев. Теперь много времени он проводил на вокзале, опрашивая прибывающих. Среди них все больше и больше попадалось раненых: это были бегущие бойцы из частей Страхова. От них он узнавал леденящие подробности о том, что тарабарские войска не берут раненых, о массовых расстрелах пленных, о начавшемся разложении войска логопедов. То же самое, судя по всему, происходило с лингварскими дружинами. Однако, в отличие от логопедов, отношение тарабаров к прежним соратникам было куда лучше: пленных лингваров не сажали в тюрьмы, а отпускали, взяв с них соответствующую клятву на верность. Серьезных успехов тарабары, которые начали превращаться в главенствующую силу, добились в боях с ополчением из бывших членов Партии: все районы, контролируемые ополченцами, были очищены, а остатки дружин слились с отступающими войсками логопедов.

То были страдные дни. Заблукаев сутками не покидал редакции. Старые антипатии забылись. Для него уже неважно было, по чьей вине разразилась эта страшная война, кто привел страну и язык к пропасти. Призывы к стойкости, патриотические стихи и песни, аналитические сводки с мест сражений заполнили страницы газеты. У Заблукаева появилось множество корреспондентов. Ему стало известно, что его газету переправляют на боевые позиции, как листовку. Поэтому он не прекращал своих проповедей на тему правильной речи: ведь именно за язык, по его зрелому убеждению, и велась эта война.

Через несколько месяцев стало известно, что вожди тарабаров и лингваров заключили между собой союз и договорились о коалиционном правительстве. Во главе его встал тот же Купдиянов. Армия логопедов к тому времени была отброшена к самым рубежам страны. Европу захлестнул поток беженцев. В городе от бывших соотечественников некуда было деваться. Среди них было множество раненых и инвалидов. Понимая обстановку, европейские правительства открыли для беженцев свои рынки труда, и теперь повсюду, на стройках и дорожных работах, за рулем такси и среди ресторанных столиков, можно было увидеть бывших логопедов, больших и малых. В редакцию к Заблукаеву стояли длинные очереди желающих получить журналистскую работу: сам он уже не справлялся и решил нанять от силы трех-четыре помощников. Тираж «Правила» вырос до сотен тысяч экземпляров.

Стали появляться и другие эмигрантские газеты, основанные бывшими логопедами. Они, однако, все признавали авторитет заблукаевского издания и занимались в основном сведением счетов между собой. Быстро выяснилось, что одни издаются консервативно настроенными логопедами, другие — либералами. И старые кастовые споры, которые когда-то велись тайно, в своей среде, вылезли наружу на всеобщее обозрение и обсуждение. Логопедические издания вели нескончаемую полемику и по-

грузались в историю вопроса все глубже и глубже, так что под конец человеку несведущему становилось совершенно невозможно судить, кто же все-таки прав, а кто виноват. Но, несмотря на споры и расхождения, все газеты сходились в одном: главным иудой был заклеямен Ирошников и его приближенные. Газеты не сомневались в том, что новая власть не удовлетворится заверениями бывшего Совета логопедов в верности ей и расправится со всеми его членами. Этому газеты жаждали дружно и страстно и во всех красках рисовали то публичное повешение бывшего главного логопеда, то его расстрел, то гильотинирование. А тем временем сам Ирошников и все члены бывшего Совета продолжали находиться под домашним арестом.

Прошло еще какое-то время, и стали доходить сведения о том, что Страхов ранен, а остатки его армии, засевавшие среди болот и озер на севере, собираются в полном составе уходить за границу. Новые эмигрантские издания отвлеклись от своих перепалок и подняли крик. Страхова называли жалким переметчиком и, конечно, предателем.

А вскоре всем довелось стать свидетелями мрачного зрелища: из прибывших с востока составов выгружались — на костылях, носилках, под руки — сотни грязных, обессиленных людей. Это было все, что осталось от логопедических частей: около двух тысяч человек. С ними был и сам Страхов, прибывший со своим штабом из трех человек в отдельном вагоне. На перроне его встречал президент республики. Это событие широко и с комментариями освещалось прессой.

«Правило» не посвятило поражению логопедов и прибытию армии Страхова ни строчки. Заблукаев смирился с тем, что наступлению Царства Истинного Языка уже ничем не помешать. И со страниц газеты разом исчезли все призывы к стойкости и патриотические статьи. Газета вернулась к своей излюбленной теме — проповеди правильной речи. Как и предсказывал Закревский, с увеличени-

ем эмигрантской диаспоры количество подписчиков выросло в разы. Заблукаев давно забыл, что такое финансовые трудности, — газета приносила спонсорам устойчивую прибыль, ее тиражи росли. И Заблукаев с облегчением возвратился к отложенным на какое-то время статьям о языке: писать патриотические стихи заставляло его чувство долга, но это занятие не приносило удовлетворения.

В один из дней к нему неожиданно явился подтянутый молодой человек со старыми глазами, вызывающе одетый в офицерскую шинель со споротыми нашивками: хоть страховская армия была разоружена еще на границе, весь ее воинский состав продолжал щеголять в шинелях, мундирах и фуражках с кокардами. Молодой офицер оказался адъютантом Страхова.

— Лев Павлович Заблукаев? — осведомился офицер.

— Да.

— Уполномочен передать вам приглашение генерала Страхова явиться в расположение штаба. Адрес вы найдете в этом пакете.

— У генерала имеется в городе штаб? — спросил Заблукаев.

— Так точно, — отчеканил адъютант. — Его адрес вы найдете в пакете. Разрешите откланяться.

И он щелкнул каблуками, собираясь уходить.

— Постойте, — сказал Заблукаев. — Как здоровье генерала?

Адъютант помрачнел.

— Ему уже лучше, — ответил он, уже не чеканя слова. — Ранение было тяжелое, началось воспаление. Однако сейчас он уже на ногах. — И вдруг совсем не военным тоном добавил, немного стесняясь: — Генерал убедительно просит вас, Лев Павлович, явиться к нему.

Заблукаев вскрыл пакет и прочел письмо за подписью Страхова. Адъютант тем временем с плохо скрываемым волнением ждал.

В письме говорилось:

«Многоуважаемый Лев Павлович, прошу, несмотря на вашу занятость, прибыть ко мне для важного разговора. Дело весьма срочное.

Страхов».

— И это все? — спросил Заблукаев, дочитав письмо.

— Так точно, — отчеканил адъютант, будто знал, что сказано в письме.

Заблукаев тяжело задумался. Идти к Страхову ему не хотелось. Он не понимал, что понадобится от него самозванному главному логопеду, но чувствовал, что его опять станут о чем-то просить, во что-то втягивать.

— Хорошо, — внезапно для себя решительно сказал он адъютанту. — Передайте генералу, что завтра утром буду.

Адъютант просиял так, словно от этого решения завишело его будущее.

— Спасибо, Лев Павлович, — по-домашнему поблагодарил он и тут же отчеканил: — Честь имею!

Он откланялся, а Заблукаев еще какое-то время просидел в тяжелой задумчивости и сказал потом вполголоса:

— Ну, да поглядим...

Самопровозглашенный штаб Страхова размещался в особняке, где проживал главнокомандующий. Это старинное, украшенное скульптурами здание на одной из тихих улиц в центре города выделили Страхову специальным распоряжением президента республики. У особняка было людно — здесь вечно ошивались какие-то оборванные офицеры, дожидавшиеся выхода главнокомандующего, а двери без конца впускали и выпускали озабоченного вида людей в военной форме. Неподалеку дежурили двое полицейских.

Заблукаев вошел в особняк и поразился скоплению людей. Похоже, тут была вся уцелевшая армия Страхова. По широкой мраморной лестнице взбегали и сбегали

офицеры в мундирах разной степени изношенности, в холле дожидались какие-то дамы, и офицер провожал к дверям толстого важного старика в костюме с бабочкой.

Заблукаев поймал одного спешащего офицера и спросил, как ему попасть к генералу.

— Просто поднимитесь наверх и доложите, — коротко ответил офицер и побежал вверх по лестнице так быстро, словно за ним гнались тарбары.

Заблукаев поднялся на второй этаж и здесь обнаружил самое плотное скопление офицеров на один квадратный метр, которое ему только доводилось видеть. Те ждали у больших закрытых двухстворчатых дверей, которые время от времени открывались, чтобы пропустить очередного вбегающего и выбегающего, и тогда мельком показывались лепные колонны, картины и зеркала. Заблукаев пожалел, что не спросил имени адъютанта, но тут увидел того выходящим из дверей. Заблукаев приблизился и назваля, и офицер, просияв улыбкой, просто взял его за рукав и ввел за собой в помещение.

Это оказался большой зал с тонкими изящными колоннами. В простенках висели картины, изображающие разные пасторальные виды, и зеркала в дорогих золоченых рамах. Потолок был расписан нагими нимфами, спасающимися бегством от дружелюбно настроенных сатиров. В окна виднелся прекрасный ухоженный сад, скрытый от улицы стенами особняка.

В зале тоже было полно офицеров, и все они окружали одного человека. Он, высокий и сутулый, с рукой на перевязи, в наброшенном сверху кителе с полевыми погонами, по которым невозможно было угадать, какого он звания, присел на край большого стола, заваленного документами. Это и был Александр Николаевич Страхов, главный чрезвычайный логопед и командующий побежденной армией. Его, человека сугубо штатского, тут все называли генералом, и он не возражал. Впрочем, практически все присутствующие тут не были офицерами, а за-

нимали до войны штатские должности в логопедии. На войне они выросли до капитанов и полковников, и звания эти присуждал штатский главнокомандующий Страхов.

Заблукаев никогда не видел Страхова: тот запрещал фотографировать себя для газет и на публике показывался мало. На вид Страхову было лет пятьдесят, он был высок и коренаст, что делало его немного неуклюжим. У него было широкое лицо, немного впалый рот с узкими губами и хищный нос. Все, знавшие Страхова, говорили о его тяжелом взгляде, но Заблукаев сначала этого не почувствовал. Адьютант подошел к группе и что-то сказал Страхову. Разговоры моментально замолкли, офицеры расступились, и все взгляды устремились на Заблукаева.

— Как же, как же, — не вставая, произнес Страхов, глядя на Заблукаева в непонятном веселье. — Вот мы и познакомились, Лев Павлович.

Заблукаев не знал, что сказать, а потому поклонился и произнес:

— Очень приятно.

На это Страхов мученически сморщился и закрыл глаза.

— Не обращайтесь внимания, — произнес он, когда приступ прошел. — Рука никак не заживет. Врачи каждый день копаются, конца этому не видно. Ну, ладно. Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. — И он обратился ко всем: — Я бы хотел немного поговорить со Львом Павловичем наедине.

Офицеры вышли, и Страхов продолжал:

— Хочу выразить вам мою искреннюю благодарность за то, что вы сделали для нас, Лев Павлович. Ваша публицистическая деятельность, зажигательные статьи, сводки немало способствовали поднятию боевого духа в наших войсках. Это был по-настоящему патриотический шаг.

Заблукаев поморщился, и Страхов, заметив это, быстро добавил:

— Не побоюсь этого слова. Ваши взгляды мне известны, и я их уважаю. Посему и попросил вас прийти. У меня к вам серьезный разговор, Лев Павлович.

— Я вас слушаю, — произнес Заблукаев.

— Положение критическое, — заговорил Страхов, глядя на него в упор. — При попустительстве и прямом содействии изменников в правительстве страна захвачена мятежниками, большинство из которых — преступные элементы, судимые за тяжкие правонарушения. К сожалению, народ ослеплен их популистскими лозунгами и горой стоит за них. Значительное число бывших логопедов и интеллигенции тоже переметнулось на их сторону. В этой ситуации я, как самый высокопоставленный работник аппарата Совета, отказавшийся снимать полномочия, считаю себя вправе объявить о создании правительства в изгнании. Нам уже удалось заручиться поддержкой большинства европейских правительств. Со дня на день ожидается признание нас заокеанскими друзьями. Правительство сейчас в процессе формирования. Приходится принимать труднейшие кадровые решения — ведь многие способные и нужные нам люди пали за родину или находятся за решеткой. Я знаю вас как специалиста и как патриота, Лев Павлович, и зову вас к нам. Забудемте старое. Из этой ситуации я вижу один выход — объединение платформ.

Заблукаев молчал. Вошел адъютант, положил на стол какие-то бумаги, вышел. Зазвонил телефон, звонил долго, умолк. Заблукаев молчал.

— Ну же, Лев Павлович, — произнес Страхов с легким укором. — Я понимаю, старые обиды, но все же...

Заблукаев сказал:

— Я, Александр Николаевич, плохо разбираюсь во внутренней иерархии логопедии, чтобы с точностью судить, кого именно следует винить в предательстве. Но если и выносить приговор, то огулом. Я знаю, вы честный человек. Вы дрались за свои — за наши — убеждения. Но давайте не будем о предателях. Давайте лучше о преданном.

Предан здесь не народ и не убеждения. Предан здесь язык, и это привело к его гибели. Я много писал об этом, предупреждал, но сейчас все это стало неважно. Ответьте мне — если вам удастся свергнуть тарабаров, собираетесь ли вы восстановить логопедию?

— Я потомственный логопед, — ответил Страхов, — и мне всегда были видны недостатки системы. Но я не вижу причин, почему система логопедического надзора не должна быть восстановлена в новом виде, с учетом всех прежних ее недостатков.

— Александр Николаевич, — сказал Заблукаев, — я не вправе говорить вам, проливавшему за восстановление этой системы кровь, что вы и ваши соратники заблуждаетесь. Ведь я в это время проливал только чернила. Скажу только, что эта война полностью изменила мои взгляды на происходящее. Раньше я тоже любил слова «надзор» и «контроль». Вы станете смеяться, но я считал себя логопедом. Сейчас обстоятельства изменились, и я полагаю, что только учительством можно добиться возрождения языка. Этим всегда занималась моя газета, а сейчас станет заниматься еще активнее.

— Поэтому я и попросил вас прийти. Мы хотели бы предложить вам пост министра печати и пропаганды в нашем правительстве. Разумеется, до настоящего дела далеко. На данном этапе будет достаточно вашей деятельности на посту главного редактора «Правила». Ведь вы и так, — вдруг усмехнулся Страхов, — фактически занимаете эту должность.

— А газета станет печатным органом правительства в изгнании, насколько я понимаю?

— Да, это было бы весьма желательно.

— Спасибо за откровенность, Александр Николаевич, — сказал Заблукаев. — Но этому есть весьма существенные препятствия. Например, я никогда не смогу объяснить своим спонсорам, почему газета вдруг стала служить ло-

гопедии. Ведь они тоже не разбираются в ваших внутренних градациях и воспринимают вас как часть режима, пускай и бывшего. Они, Александр Николаевич, считают приход к власти тарабаров вашей виной, вот в чем дело. И я не вижу способа их в этом разубедить, потому что, по чести вам сказать, и сам так думаю.

Тут Заблукаев понял, что те, кто рассказывал ему о тяжелом взгляде Страхова, были все же правы, потому что взгляд Страхова вдруг сделался невыносимым.

— Вот как, — процедил Страхов. — Ну, не ожидал, не ожидал.

— Скажу вам больше, — продолжил Заблукаев, с трудом выдерживая его взгляд. — Вам будет трудно отмыться, потому что делать это вы будете за счет других. А попутно вы собираетесь наживать на гибели языка политический капитал, тогда как сейчас все силы следует кинуть на его возрождение. Ведь его, Александр Николаевич, можно еще возродить. Языки никогда не умирают сразу, они сходят на нет медленно, и есть, всегда есть возможность подержать тех, кто несет в себе язык.

Страхов промолчал, а потом с гримасой боли повернулся, выбрал из кипы одну бумагу и через силу подал ее Заблукаеву.

— Мы признаем ваши заслуги, Лев Павлович, — тихо, с напряжением произнес он. — Это грамота о даровании вам звания логопеда. Церемония принесения присяги состоится позже, когда мы утрясем организационные проблемы. А пока примите.

И он протянул бумагу Заблукаеву.

Заблукаев взял ее. Он сам удивился, как вдруг затряслись его руки. Сколько раз он видел во сне, как приносит присягу логопеда. Даже поздравления снились ему, аплодисменты, торжественные трубы. Сколько лет он стремился стать логопедом, сколько трудов и усилий положено. Но всегда на этом пути возникали препятствия, и самое главное, которого не обойти, — наследственное членство. И он спросил Страхова дрогнувшим голосом:

— Насколько я помню, только тот, в чьих жилах течет кровь логопеда, может стать логопедом. Разве правила изменились?

— Я — главный логопед, — сказал Страхов. — И пусть я не прямой потомок Мезенцева, так, седьмая вода на киселе, но я принял решение изменить правила. Отныне за особые заслуги звание логопеда может быть даровано отличившемуся с правом передачи по наследству. Вы такой чести заслужили больше других. Прошу вас, примите грамоту.

Заблукаев кинул еще один взгляд на документ. Это была грамота как грамота — писанная витиеватым почерком, с размашистой подписью Страхова. И Заблукаев спросил его тогда:

— Меня вам, видно, рекомендовали? Я знаю, что рекомендовали. Я даже знаю имена этих людей. Девель Евгений Леонидович, да? Закревский Виталий Николаевич? Ну и прочие кураторы и просто сведущие люди.

— Покойный Евгений Леонидович высоко отзывался... — начал Страхов, но Заблукаеву все уже было понятно, и он прервал его:

— Я очень благодарен вам, Александр Николаевич. Вы прекрасно знаете, как я стремился попасть к вам. Я положил на это годы своей жизни. Но только сын и внук логопеда могут быть логопедами. А я — учитель, потому что я сын и внук учителя. И я буду учительствовать. Кому-то ведь нужно исправлять ошибки, вот я этим и займусь.

Он положил грамоту на стол, повернулся, и тогда за его спиной раздался ровный голос Страхова:

— Выходит, мы очень ошиблись в вас, Лев Павлович. И Заблукаев ответил через плечо:

— Напротив, Александр Николаевич, вы никогда не ошибались на мой счет.

Еще несколько дней он никак не мог отойти от этой встречи — волновался, проговаривал про себя бесконеч-

ные диалоги со Страховым, снова и снова взвешивал свое решение. Но оно было уже принято — чего рядить? И Заблукаев начал успокаиваться. Понятно, что он приобрел врага, — Страхов был не из тех, кто забывает. И, вероятно, следовало ожидать каких-то ответных действий. Заблукаев не боялся смерти — ни Страхов, ни кто-либо из его окружения не могли знать заветного умертвляющего слова. Они могли сделать другое — умалить газетную деятельность Заблукаева. И вскоре он понял, что его опасения на этот счет начинают сбываться.

Другие газеты — «Речь», «Патриот», «Вестник логопедического братства» — стремительно набирали обороты. Они больше не отводили первых полос под нескончаемые взаимные обличения. Каждая из них быстро нашла свою специализацию. Так, «Речь» и «Патриот» публиковали в основном новости с родины — у них оставались там хорошие источники, снабжавшие их компетентной информацией. «Патриот», кроме всего прочего, вскоре стал основным печатным органом нового правительства в изгнании, созданного Страховым. «Вестник логопедического братства» освещал жизнь логопедов-эмигрантов, печатал объявления о собраниях и вообще организовывал разрозненное братство как мог. Были также газеты помельче и побульварнее.

Между тем «Правило», не сменившее редакционной политики и продолжавшее свою проповедь правильной речи и нападки на речь неправильную, начало быстро терять популярность. Нынешние читатели газеты, почти сплошь бывшие логопеды, находили газету скучной и тривиальной. В редакцию потоком полились письма с советом сменить тему. Редакция на эти письма отвечала, что в нынешней ситуации, когда поддержка гибнущему языку нужна, как никогда, газета считает своим долгом продолжать писать на животрепещущие темы. Тогда письма с советами приходиться перестали, а над газетой принялись подтрунивать.

Сначала тихонько, а потом все громче и громче зазвучал со страниц эмигрантской прессы издевательский смех. Заблукаев вдруг оказался очень смешон. Новым эмигрантам было в нем смешно все: его твердая позиция, которая казалась слепым упрямством, язык его статей, вообще его газета, не менявшаяся многие годы. Карикатуры на Заблукаева — вот он, залитый чернилами, жесточенно строчит, не замечая бушующего вокруг пожара, вот он, пыхтя, катит в гору огромный камень, вот он сражается с ветряными мельницами — заполнили страницы недружественных газет.

Заблукаева это не могло не задевать. Он знал наверняка, кто подогревает эту кампанию. Но больше его беспокоило то, что тиражи резко упали и его больше никто не слушает. На родину «Правило» как раньше не попадало, так и не попадало теперь. По сути дела, его газета и он сам перестали быть нужны. У него не осталось читателя.

Это не укладывалось в его нынешнее видение своей миссии. Окончательно осознав себя учителем, он лишился главного — ученической аудитории. Проповедник может говорить к зверям и птицам полевым, и те, бывает, обращаются. Пророк может вещать в пустыне: это не очень действенно, зато всегда служит примером. Учитель не может ни того ни другого: звери даже после тысячи учебных часов не заговорят на правильном языке, а в пустыне учить некого, она сама учит.

Впервые за много лет у Заблукаева опустились руки.

Тогда-то и возвратился Юбин. Пришла очередная ничего не обещающая ночь, и Заблукаев вдруг очутился на том же холме и вновь видел перед собой равнину и пасущееся на ней громадное животное. Рядом стоял Юбин и протягивал ему подзорную трубу. Он был так же строг.

— На-ка, — сказал он. — С ней видеть способнее.

Заблукаев взял трубу и приложил ее к глазу.

И сразу очутился он в облаке слов, беспорядочном темном вихре, в котором отдельные слова не читались, а сливались в один сплошной типографский ветер. И он словно стоял среди этого вихря, ослепленный и онемелый. Напрасно крутил он туда и сюда трубой: носящиеся вокруг слова были какие-то бесформенные, измененные, распущенные и оттого бессмысленные. И он понял, что очутился внутри Языка. Он принялся отдалять изображение — и перед ним вырос исполинский бок, который, как дикой шерстью, был покрыт словами, спутанными, сбившимися, слипшимися. Казалось, у самых глаз торчит слово «леконструкция». Заблукаева передернуло, он еще отдалил изображение — и увидел животное целиком.

Это был он, Язык. Невозможно описать его. Он весь вихрился, брезжил, менял очертания. Он, конечно, не пасся, так просто казалось издали. Он владычествовал. Склонив бесформенную голову над страной, он глядел, слушал, подчинял. Под ним сновали микроскопические людишки, но их почти не было видно. Он сам был ими. И он не мог говорить. Да, Заблукаев сразу понял, что Язык — немой. Он мог только проникать в людей, но нашептывать со стороны не мог. Язык не имел языка, но имел миллионы острых проникающих слов.

И он почувствовал Заблукаева. Как — тот не имел ни малейшего понятия. Но Язык вдруг осознал, что на него кто-то смотрит, и медленно оборотился. От этого зрелища Заблукаев обмер, но продолжал глядеть. Он просто не мог оторвать трубу от глаза. И тогда Язык увидел его. Он стал расти в размерах. Заблукаев все отступал и отступал, а Язык рос, вырастал над ним.

До самого неба поднялся он на длинных корявых ногах, опустил к нему страшную, то ли песью, то ли козью морду и завыл. Заблукаев выронил трубу и закричал. Он хотел проснуться — но кто-то не отпускал его. Рядом стоял строгий Юбин.

— Ну, что, теперь понял? — спросил он.

Заблукаев, не в силах говорить, только кивнул.

— То-то, — сказал Юбин. — Вот это Он и есть. Теперь тебе шибко думать надо.

— А вы, Фрол Иванович?

Юбин покачал головой:

— Ты что, не понял еще, Левка? Я ведь давно неживой. Упустил он меня. А вот других подмял. Им-то это невдомек, знай себе балабонят. Думать надо, Левка.

Заблукаеву захотелось плакать при взгляде на него. Он наконец понял, что Юбин и вправду умер, и ему стало горько от этой утраты. Юбин это заметил.

— Ты, Левка, понапрасну-то слез не лей. Ты лучше делом займись. Давай-ка сюда трубу озорную, мне ее вернуть надобно. А сам без дела не сиди. Ты парень головастый, разберешься.

Заблукаев потянулся обнять его.

— Эх, дура! — ласково произнес Юбин и обнял его в ответ. От него пахло старыми книгами — милый, позабытый запах.

В слезах проснулся Заблукаев.

В последующие три дня Заблукаева не видели — он заперся в своем кабинете и никого не впускал. Сотрудники бродили по редакции, пили чай и вполголоса обсуждали вялотекущие дела. Прошел слух, что Заблукаев готовит обличительную статью в адрес других эмигрантских газет. И это было очень похоже на него, так что никто его не беспокоил.

А Заблукаев обдумывал отъезд. Решение было принято в ту ночь, когда он последний раз увидел Юбина. Он пробудился в самый глухой час, в слезах, весь преисполненный явившимся ему откровением, и уже не пытался уснуть. В каком-то озарении бродил он по темной квартире, смотрел на горящие за окном фонари. Вполголоса повторял:

— Свет! Свет!

Иного не было дано. Он понял всю никчемность нынешней своей деятельности. В залитой светом комнате факел не нужен. Он нужен в пещере. Он нужен там, где все факелы уже потухли. Его «Правилom» здесь уже нечего править. Логопеды привезли с собой, в себе израненный, слабый язык, ту самую правильную речь, от которой страна отказалась. Она будет жить здесь, но дни ее сочтены, ограничены кратким присутствием на этой земле ее носителей. Заблукаев видел этот язык — маленького серого зверька, затравленно выглядывающего из угла. Такие же крохотные зверьки сидят по слепым закоулкам нового Царства Истинного Языка, где лютует огромный его властелин. Осветить их, согреть, дать им волю — вот что нужно делать. И кому это делать, как не учителю. Потому что долг каждого учителя — рассеивать мрак, будь это мрак невежества или глухая ночь просторечия.

Через три дня Заблукаев появился из кабинета, ни с кем не здороваясь, прошел по редакции и вышел на улицу. На улице он тоже по сторонам не глядел: он знал каждый перекресток здесь, каждый дом, а люди были ему неинтересны, потому что они не говорили на его языке. Он шел в посольство говорить о возвращении.

В посольстве сидел мрачный человек в гимнастерке и пил чай с сухарем. На первые фразы Заблукаева он отвечал прихлебыванием, но потом стал внимательнее и даже оживился.

— Логопед? — спросил он, узнав, что Заблукаев хочет выправить паспорт.

— Нет, — честно ответил Заблукаев.

— То-то, — удовлетворенно сказал человек. — А был бы логопед — сейсяс бы тебя там в ласход. Это, товались, нынсе плосе плостого. Потому как — влаги!

— Мне бы паспорт, — напомнил Заблукаев.

— Это сейсяс, — неспешно произнес человек, копаясь в ящиках стола. — Это мигом. Главное, стобы от лезима был постладавсий. А так — милости плосим. Нам нынсе все плофессии нужны. Заполни-ка анкету.

В графе «Профессия» Заблукаев с чистым сердцем поставил: «Учитель». Посольский человек, прочтя это, еще больше его зауважал.

— Где же ты плятался, уситель? Нам усителя сейчас во как надобны. Мозно сказать, позалез.

— Вот я и еду, — просто сказал Заблукаев.

— Тебе бы самому язык поплавить, а так — уси, кого хосесь, — делился наблюдениями человек. — А то лесь у тебя, товались, больно колявая. Ну, да глаздане тебя влаз поплавят. Налод у нас тепель сознательный.

— Я знаю, — произнес Заблукаев.

— Кого усить-то будесь? — с интересом спросил человек.

— Всех, — сказал Заблукаев правду.

Закрытие «Правила» было встречено эмигрантской прессой дружным хохотом. Немногие нашли в себе разумение дать трезвую оценку деятельности заблукаевской газеты. Большинство интересовалось другим — чем теперь займется бывший редактор. На эту тему было придумано даже несколько анекдотов. Но Заблукаев затих и на людях не показывался, и вскоре шумиха улеглась.

А виновник ее в это время тихо готовился к отъезду. Бывшие сотрудники об этом знали, и целая небольшая скорбящая очередь выстроилась к дверям его квартиры, чтобы отговорить его от опасной затеи. Скорбели близкие оттого, что Заблукаев уговорам не поддавался. Он, как было всем заметно, уже все решил. Особенно странно он реагировал на предупреждения о грозящей ему на родине гибели: здесь он начинал говорить о каком-то заветном слове, о том, что никто нынче не читает старых книг, и тому подобное.

Уезжал Заблукаев поздней осенью. Выпал первый снег, что показалось ему символичным: снег встречал его приезд и теперь провожает его обратно. Как и тогда, с собой у Заблукаева был старый чемодан, набитый рукописями и гранками. Бумаги Горфинкеля и редакцион-

ный архив он передал в один заокеанский университет и с собой взял только то, что пригодится ему в царстве победившего Языка. Провожали его самые близкие — бывшие сотрудники его редакции. Со всеми он сердечно обнялся, а потом вошел в вагон. С перрона было видно, как он по коридору прошел в свое купе, помахал им из окна, сел и задернул окно занавеской. Они ждать не стали и потихоньку разошлись.

А поезд вскоре тронулся. В нем ехало немало возвращающихся на родину. То были разные люди, но все они считали, что смогут пригодиться новой власти. Один Заблукаев ехал на войну.

«Я везу тебя с собой, — думал он, глядя на свой чемодан с рукописями. — Здесь ты погибнешь. Сейчас ты всего лишь клочок, но ты вырастешь. Надо только донести тебя до них. Только донести».

Поезд равномерно преодолевал пространство. Европа оставалась позади. А Заблукаев тем временем думал, в какую школу его назначат, с чего он начнет свой первый урок, какой класс ему дадут. Он мыслил начать свою деятельность со школы. Да, именно так: начинать следует с низов. И между делом неутомимо искать единомышленников и единопольщиков. Такие там еще остались, он в этом не сомневался.

Пересекли границу.

Беспощадный снег, обещание долгой зимы, которую суждено пережить не всем, одолевал онемевшую землю.

Гвава посведняя

Четыре месяца, проведенные под домашним арестом, сделали Рожнова другим человеком. Вначале он просто не поверил в то, что его и других высших логопедов посадят под замок, точно обыкновенных преступников: ведь они сразу заявили о своей готовности помогать новой власти.

Рожнов всячески подчеркивал свои заслуги: он и речеисправительную службу вывел на чистую воду, что привело к ее упразднению, и вообще много сделал для того, чтобы дать народному языку дорогу.

Однако на новые власти это не произвело особого впечатления. Они были заняты подготовкой к выборам, к войне со всеми, кто встанет у них на пути, а потому распорядились по-простому: поместить под домашний арест до выяснения. А поскольку после выборов времени на выяснение ни у кого не осталось, Ирошников, Рожнов и другие члены бывшего Совета логопедов просидели под замком до того дня, когда тарабарские войска в результате двухдневных боев взяли столицу под окончательный контроль.

Вестей от сына не было. Андрей сразу же записался добровольцем в части Страхова. С родителями он успел попрощаться — коротко обнял отца, долго обнимал и утешал мать. Страшная война отдалила сына от них, но и сделала в тысячу раз роднее. Юрий Петрович горько сожалел о том, что как отец не сделал первого шага, не приблизился к сыну. А теперь могло быть слишком поздно.

Им уже приходилось прятаться и дрожать. И до этого в городе бывало беспокойно, где-то стреляли, доносились взрывы. Особенно страшно было по ночам, когда оглушительные пулеметные очереди за окном вырывали их из сна и бросали на пол в бессильном страхе. Но эти два дня тарабарского штурма были особенно ужасны. Весь город стонал и трясся от взрывов. На соседней улице шли бои с применением тяжелых пушек и бронетехники: тарабары, не щадя зданий и мирного населения, вышибали лингварских дружинников из жилых домов. От несмолкаемых взрывов Рожнов и Анна Тимофеевна почти оглохли. Стекла в их доме были давно разбиты. Время было теплое, но они все равно заткнули окна подушками — от осколков. Они были уже научены.

Их бессменный охранник, старый тарабар по фамилии Казлинин, во время боев ушел куда-то и не вернулся. Этот

Казлинин здорово допекал их. В спокойные дни он сидел на пороге дома и зазывал в приоткрытую специально щель:

— Логопед! Эй, логопед!

— Чего тебе? — отвечал Рожнов поначалу, еще не зная, и тогда Казлинин говорил одно и то же:

— Логопед, подали мне велосипед! — и заливисто хохотал. Казлинину это казалось очень смешным. Он был простой человек, свято верящий в то, что при Тарабрине «плостому наладу» было бы хорошо, а логопеды взяли и удушили Тарабрина. — Логопед, ты зачем Талаблина убил? Логопед! А, логопед? Ты зачем Талаблина убил?

И так без конца. Рожнов и Анна Тимофеевна сразу заметили, что Казлинин куда-то делся, но выходить было опасно: на улицах шли бои, и даже сюда, на тихую их улочку, временами залетали свистящие шальные пули. Связь отсутствовала, они не знали, что с другими логопедами, что с Ирошниковым, и поэтому решили остаться дома и дожждаться затишья.

Когда оно наступило, Рожнов твердо сказал:

— Пойдем, Аня!

— Куда? — со страхом спросила Анна Тимофеевна.

— К Куприянову, — мрачно ответил Рожнов. Он горел решимостью переговорить с вождем тарабаров. У него накипело. Он не мог сидеть на месте.

Они выбрались на улицу и направились, озираясь, к зданию Управы. Им не приходила в голову вся абсурдность этого решения. Город лежал в руинах. Они шли мимо развороченных стен, валяющихся на улицах трупов, горящих домов. И это было на правительственной улице — здесь тоже шли ожесточенные бои. Повсюду бродили безучастные люди: шатающиеся, оглохшие, они что-то искали в развалинах, кого-то беззвучно звали. Здание центральной логопедической коллегии было разрушено до основания — похоже, еще до боевых действий. От него остались черные стены: перед тем как его взорвать, его долго и методично жгли.

Высокая Управа тоже пострадала, но не сильно: здание хорошо оборонялось. На ступеньках парадной лестницы сидели несколько тарабаров. Их оружие лежало тут же. Рожнова и Анну Тимофеевну окликнули, приказали остановиться.

— Я к Дукководителю! — потребовал Рожнов слабым голосом. — Я член Совета логопедов и хочу с ним встретиться!

На этих словах его прервали и довольно любезно препроводили обратно до дома, где приставили к ним нового охранника, угрюмого веснушчатого парня, который, казалось, проглотил язык.

Наступившая ночь была тяжелой. До самого утра просидели они с женой: Рожнов — на стуле, а Анна Тимофеевна — на кровати, так и не сомкнув глаз и не проронив ни слова. Неподвижно они сидели, лишь вздыхая по временам. Издалека слышались глухие взрывы, какая-то стрельба. Они были безучастны: новый арест не сулил ничего хорошего.

Но наутро пришел приказ: охрану снять, а Рожнову явиться для прохождения государственного учета.

Рожнов насторожился. Он прекрасно знал, что учет в условиях государственного переворота и гражданской войны всего нечто большее, чем просто учет. В тот же день он побывал у Ирошникова и с облегчением нашел того живым и здоровым, хотя и сильно исхудавшим. Оказалось, что всем бывшим членам Совета логопедов пришли одинаковые повестки — явиться в новое ведомство по государственному учету с документами. Решили отправиться туда все вместе.

Утро было солнечное, веселое. На разгромленных улицах кипела работа: разбирали завалы, подбирали трупы, тушили тлеющие пожары. Восемь бывших высших логопедов искали здание Госучета. Они и адрес знали, но улицы утратили свой облик, и логопеды плутали по руинам,

карабкались по грудам битого кирпича, вглядывались в обгорелые стены в поисках уцелевших табличек с названиями улиц.

Они бы, не заметив, миновали это здание — оно было полуразрушено, одно крыло обвалилось, и наружу высунулся целый лестничный марш, — если бы не сияющая табличка, красующаяся на фасаде: «Госуцет». Табличка была свеженькая, ее прикрепили недавно, прикрепили люди, которые считали, что главное — эта табличка с названием ведомства, а свисающий наружу, словно язык висельника, лестничный марш и обвалившееся крыло — отдельные недостатки, на которые можно закрыть глаза.

— Удивительные времена, — негромко заметил Ирошников. Он сказал это скорее для себя, но остальные покивали. Удивительно было здание Госучета, удивительна была табличка.

В коридорах почти никого не было, только из разных кабинетов время от времени показывались люди, строгими голосами окликали вошедших и заставляли предъявлять документы. С документами, этими утлыми бумажками и справками, на вид совершенно неубедительными, оказывалось все в порядке, и восемь неуверенных людей опять шли по коридору в поисках кабинета начальника, удивляясь вполголоса тому, что все переменялось в этой стране — солидные удостоверения стали основанием для заведения уголовного дела, а жалкая справка с подписью-закорючкой и расплывчатой печатью оказывалась надежной охранной грамотой.

В кабинет начальника их попросили проходить по одному. Начальником оказался Парин, тот самый пассионарный депутат, который с трибуны потребовал упразднения логопедии. Это сделало Парина знаменитым, но не помогло при распределении должностей: ему достался невидный пост руководителя Госучета. Но сам Парин его невидным не считал. Совсем напротив, он полагал, что нет ничего важнее переучета всего и вся, и после на-

значения немедленно объявил инвентаризацию и переучет государственного имущества. А поскольку новая власть объявила, что все имущество временно, на период разбирательства, переходит в руки государства, переучет распространялся на все, что оказалось у государства в руках.

Рожнов хорошо знал Парина: тот был бывшим кандидатом и несколько раз пытался пройти комиссию, но его каждый раз заворачивали. На речеисправительные курсы Парин идти упорно отказывался, ссылаясь на какие-то проблемы со здоровьем, и этим Рожнову очень нравился. Потом он пропал из поля зрения Рожнова, и он про себя решил, что способный, но бедовый парень влился в ряды кандидатов-неудачников.

Сейчас Парина было не узнать: хмурый и нелюбезный, он сидел за столом и глядел на Рожнова сквозь толстые очки.

— Добрый день, товарищ Парин, — поздоровался Рожнов и хотел было обстоятельно рассказать, по какому делу явился, но Парин оборвал его:

— Вы, сто, товались, ситать не умеете? Ну-ка, выйдите за двель и плостите, сто написано на таблиське.

Рожнов, оторопев, послушался, вышел и под удивленными взглядами своих товарищей прочел: «Илья Иванович Пален, нацальник».

— Простите, ошибся, — произнес Рожнов, возвратившись в кабинет, но Парин опять прервал его:

— Так. Вы на пелеусет? Документы давайте.

Рожнов подал свои бумаги, Парин выудил откуда-то пухлый гроссбух, быстро нашел в нем что-то, что-то на черкал на бланке, шлепнул печать и приказал:

— В девятнадцатый кабинет!

Рожнов глянул в бумажку и обомлел. В графе «Имя, фамилия» стояло: «Юлий Ложнов».

— Простите, — начал Рожнов, возвращаясь к столу.

— Сто такое?

— Вот здесь написано: «Ложнов». Это какая-то ошибка, моя фамилия Рожнов.

На лице Парина появилась неприятная улыбка.

— Никакой осибки нет. Это ланьсе вы так назывались, пли сталом лезиме. А так будете называться пли новом. Это тепель васа настояся фамилия.

— Но, позвольте, как же так?

— Вы таблиську на моей двели видели?

— Да.

— Вот! Мы слываем покловы лзивого языка с насих имен, весей и слов! Тепель люди и веси называются своими истинными именами!

— Но, позвольте, а нормы? — слабо возразить Рожнов, но Парин в ответ, плюясь бешеной слюной, закричал:

— Нет больше никаких сталых лзивых плогнивсих номл! Свобода языка — свобода налода! Где вы были в последнее влемя, товались?!

Рожнов подождал, когда Парин затихнет, а потом с достоинством произнес:

— Я, товарищ Парин, последние месяцы провел под арестом.

— Я — Пален! — снова вскинулся тот, но Рожнов уже выходил из кабинета.

А через час бывшие логопеды стояли под дверью девятнадцатого кабинета, где им должны были выписать новые паспорта. Пресловутая свобода языка ударила по всем, кроме членов Совета Гусева и Потапова. Анисим Меркулов стал Мелкуловым, Евгений Немировский — Немиловским, Алексей Брудов — Блудовым. Говорить никто был не в силах, поэтому молчали. Один Ылосьников — так теперь назывался Ирошников — время от времени хмыкал.

Разговорились, лишь покинув ведомство. Всех интересовало будущее — дадут ли возможность работать, оставят ли под надзором. Оказывается, Ирошников спрашивал об этом Парина, но тот отвечал уклончиво. Видимо, у новой

власти еще не сложилось мнения на их счет. Поэтому решили разойтись по домам и ждать, а пока держать ежедневную связь — на всякий случай. Всем была памятна участь некоторых логопедов, бесследно сгинувших без суда и следствия.

— Ну сто? Пасполт выдали? — Такими словами встретила Рожнова Анна Тимофеевна. Она хотела как-то порадовать Самого и поэтому перешла на разговорный язык.

Рожнов в ответ взвился:

— Паспорт, паспорт — вот как надо говорить!

— Ты сто, Юлочка? — попятилась она. — Ты же сам так говоришь!

— Я не Юлочка! — продолжал бушевать Рожнов. — Все, с этой дрянью у меня в доме покончено! Отныне — только чистый правильный язык!

— Холо... хорошо, Юра, хорошо, — испуганно закивала она.

А тут еще проказник-попугай заорал со шкафа: «Ломуальд холосий, холосий!» Рожнов в сердцах кинул в него кухонной тряпкой, и попугай с хохотом улетел в другую комнату.

— Кормлю тебя еще! — крикнул ему вслед Рожнов и добавил тише: — Что-то будет, Аня. Паспорт-то выдали, но фамилию всем изменили.

— Всем? А другим людям?

— Другие люди, Аня, на другом языке говорят, им это давно привычно. А Ирошникова таким именем паскудным обозвали, да и меня...

— Ох, Господи! — вздохнула она и, не став выяснять нового имени Самого, пошла накрывать на стол.

Потянулись томительные дни. Рожнов побывал в нескольких учреждениях, где пытался предложить свои услуги. В коридорах Министерства культуры встречались ему знакомые логопеды, которых тоже привела сюда нуж-

да, — но, лишь завидев его, они все отворачивались и не здоровались. Рожнов стоически сносил презрение собратьев по касте, но сердце у него болело. Он знал, что Ирошникову приходится еще туже. Недавно на улице в него кинули камнем и обругали матерно. Знал Рожнов, какую ненависть вызывают они у других логопедов, даже у тех, кто когда-то считали себя либералами.

— А ты-то что здесь делаешь? — с брезгливым изумлением спросил его в другом ведомстве некто Полоникин, знакомый еще по столичной коллегии. — Я думал, ты давно у Куприянова в помощниках сидишь.

— Да нет, я как все, — попробовал отшутиться Рожнов.

— Как все? Чего же ты тогда старался-распинался? Я-то думал, у тебя хоть какая-то корысть была.

Нервы у Рожнова не выдержали, и он обругал Полоникина.

— Ну-ну, — философскиотреагировал тот. — Значит, и вправду не у дел оказался. Какие неблагодарные.

И с тех пор за Рожновым потянулся шлейф из едких замечаний и разговорцев о недополученных тридцати серебряниках. Он пробовал огрызаться, вступал в диспуты и пускался в споры, защищая свой выбор с пеной у рта. Но в глубине души он и сам понимал, что путь, выбранный им когда-то, оказался неверен, а имя его навеки опозорено.

Похоже, те же терзания одолевали и других бывших членов Совета. Они стали встречаться все реже — видеть друг друга им было тяжело, тяжело было в сотый раз разговаривать на одну и ту же тему. Все они, совершенно забывшие, сидели по домам, ничего не делая, и не было никакой надежды на то, что положение скоро изменится. Потом неожиданно умер Меркулов — сердце. И они пришли на его похороны, а кроме них, никто больше не пришел. После похорон они так больше и не сходились.

Рожнов теперь встречал знакомых разве по недосмотру с их стороны. Его в упор не замечали, переходили на другую сторону улицы, демонстративно не подавали руки.

Но один знакомый преследовал его повсюду. Это был Язык. Он, казалось, взялся доказать Рожнову, что усилия того были незряшными. «Вот он я, — казалось, говорил Язык. — Вот сколько людей на мне говолит. Подозди, не убегай, я хосю есе кое-сто сказать. Ну подозди зе, вон видись тех лебят — и они тозе! И вон те! Все они говолят на мне. Ну, погоди, не убегай!»

Напрасно он надрывался — Рожнов просто не мог от него убежать. Язык и впрямь звучал отовсюду. На нем теперь говорили не только на улицах — газеты тоже выходили на нем, и даже правительственные постановления разрешено было публиковать только на нем. Рожнов читал названия газет — «Заля», «Искла», «Плавда», «Свободный налод», и ему становилось нехорошо. Это говорила в нем кровь предков-логопедов, поколений безупречных стражей, боровшихся с неправильным языком. Чем больше Язык старался показаться перед Рожновым выигрышным боком, тем сильнее чувствовал Рожнов голос преданных предков, тем страшнее были видившиеся ему сны — в них Юрия Петровича отдавали под некий логопедический трибунал, приговаривающий его к утоплению в бочке с чернилами. Рожнов захлебывался, вырывался, кричал — и просыпался рядом с напуганной Анной Тимофеевной.

— Опять сон увидел, Юрочка?

— Сон, сон, — бормотал измученный Рожнов, ворочаясь с боку на бок.

Доходили до них и обрывочные сведения с полей сражений. В начале осени принеслась весть, что армия Стрехова разгромлена, а ее остатки ушли за кордон. Вестей от Андрея так и не было. А несколько дней спустя стали доставлять в столицу взятых в плен страховских бойцов. Скорые суды и расправа над ними вселили ужас в народ и вызвали возмущение у бывших логопедов. Рожнов ходил в тюрьму, узнавал насчет Андрея — но того не было и среди пленных.

Индивидуальный террор в те дни расцвел. Вначале он был направлен прежде всего на бывших высокопоставленных логопедов и речеисправителей. Их устранили тихо, словно не желали привлекать большого внимания. Однако приписать кровопролитие неизвестным террористам не удалось, потому что логопеды стали публично требовать расследований и прямо указывали на то, что за этим стоят власти. А когда возмущающихся стали сажать, среди бела дня, один за другим, были застрелены два министра — народного просвещения и внутренних дел. Эти убийства, случившиеся подряд, вызвали ответные репрессии: по городу прокатилась волна облав и обысков, опять-таки направленных против бывших логопедов. Теперь на улицах стали хватать за услышанный разговор с правильным разговором, и сотни логопедов и обычных интеллигентов угодили в тюрьму, откуда выбрались немногие. Рожнов стал бояться выходить на улицу — теперь в него могли не только запустить камнем, но и убить.

Ходили по городу и слухи о неладах в коалиционном правительстве. Тарабары всегда относились к лингварам с недоверием, что и привело к войне между двумя партиями. С недавних пор тарабары были вынуждены терпеть представителей лингваров в правительстве. Так, бывший брат Панценбрехер, а ныне гражданин Булыгин, занимал в правительстве пост министра обороны. Лингвары всегда говорили на правильном языке, ныне объявленном вне закона, и не собирались от этого отказываться. Они даже позволяли себе не соглашаться со своими партнерами по власти в том, что есть правильный или неправильный язык. «Он, Язык, всегда правильный, — утверждали они. — Он не знает норм, ему даже слова не нужны — он может удовольствоваться звуками». И они молились этому Языку даже в парламенте. По слухам, в палате стоял невыносимый шум, когда десятки депутатов Партии Языка начинали громко болтать бессмыслицу и изрекать неведомые слова в угоду своему богу. По их настоянию в парламенте

установили изваяние страшного рогатого животного — так лингвары представляли себе Язык. Такие же статуи, вызывающие у многих ужас и омерзение, появились и на некоторых оживленных перекрестках. Прохожие обходили их стороной.

Все это здорово не нравилось представителям правящей Истинно-Надодной падтии. Пока что взгляды вынужденных союзников по важным вопросам не расходились, но напряжение росло. Уже начались небольшие стычки между группами депутатов. Власти пытались это скрыть, но новости быстро становились достоянием гласности и ходили по городу в виде разрастающихся слухов.

В этой накаляющейся атмосфере про бывших членов Совета не вспоминали, но у Рожнова было такое впечатление, что про них и не забывают. Где-то в чреве некоего ведомства медленно перемещались из одного отдела в другой их дела, какие-то исполнители их рассматривали, ставили некие резолюции, подводя к какому-то решению. И Рожнов всем нутром чувствовал, что добра от этого решения ждать было нечего. По городу волнами прокатывались аресты бывших логопедов, обвиняемых в очередном заговоре, и приговоры были исключительно расстрельными. Очень немногим бывшим удалось получить место в новых учреждениях. Большинство сидело по домам и обреченно ждало своей участи. Продолжали бежать за рубеж, хотя граница теперь была закрыта. Просачивались любыми способами — в товарных вагонах, грузовиках, судовых трюмах, бежали через плохо охраняемые южные рубежи.

Именно тогда Рожнов получил первое известие от Андрея. Передал его неизвестный человек, пришедший к ним в дом. Высокий, болезненного вида — казалось, он только оправился от тяжелого ранения, — не представляясь, он сообщил с порога, что Андрей жив, что ему удалось вместе со своей частью уйти в Европу и он живет сейчас в таком-то городе. Рожнов и Анна Тимофеевна бросились

к неожиданному гостю и силком затащили в дом. Здесь они усадили его за стол, накормили, напоили чаем. Потемневший от невзгод, худой человек потеплел. Он оказался Олегом Боричем, бывшим работником одной из столичных логопедических коллегий.

— Не Сергея Борисовича ли сын? — живо поинтересовался Рожнов.

Борич оказался младшим братом того. Он нехотя сообщил, что Сергей пал в боях за столицу. Про себя Олег Борич обмолвился, что воевал в рядах армии Страхова, ушел вместе с ней за границу, а сейчас решил вернуться. Он не сказал, с какой целью, только упомянул, что при переходе границы был ранен и пару месяцев отлеживался в глухих деревнях. От него Рожновы узнали, что на этой войне полегла почти вся столичная логопедия. В провинции было не лучше: кто не погиб и не пропал без вести, тот либо бежал, либо пал жертвой тарабарского террора.

— Ведь они безвинных уничтожают, — прибавил Борич, скрипнув зубами.

— Что же вы теперь делать будете? — спросила его Анна Тимофеевна.

— Осмотрюсь, — с внезапным шальным огоньком в глазах ответил Борич.

— Поживите у нас, — неожиданно для себя предложил Рожнов.

Но Борич обвел его медленным взглядом, и в этом взгляде Рожнов различил уже знакомую неприязнь.

— Спасибо, Юрий Петрович. Мне есть, где остановиться.

— Про Андрея расскажите! — воскликнула Анна Тимофеевна, не совладав с собой.

— Про Андрея, — повторил Борич и усмехнулся. — Да вы не волнуйтесь. На нем за всю войну — ни царапинки. Везуч. Я с ним в одном полку был. Отчаянный он. Велел передать, что устроился хорошо.

— А записки, записки никакой не передал?

— Записки? Да кто ж записку взялся бы передавать? Сейчас за такую записку сразу в расход... а впрочем, сейчас за все туда же.

Борич обвел взглядом квартиру, усмехнулся.

— Правда, не всех, — прибавил он.

И тут Рожнов не выдержал.

— Вы что такое себе позволяете? — вскричал он. — Вы на что намекаете?

Борич, казалось, его не слышит. Он продолжал оглядывать комнату.

— В расход, — повторил он в пространство уже громче. — Я бы сам... рука бы не дрогнула. Всех предателей, нарушивших присягу... всех продажных...

И он, скрипнув зубами, рывком обернулся к Рожнову.

— Брат погиб, — сипло произнес он, сверля Рожнова взглядом. — Отца расстреляли. А ты сидишь тут. У, ты!.. Да все хорошо у твоего сына. Он, в отличие от тебя, не отступился, дошел до конца. Знаешь, чем он занимается сейчас? Он канавы копает. И ничего, не жалуется. Все просил меня — просто передай весточку и уходи. А я засиделся тут с вами. Ничего, придет наше время. И тогда узнаете... вот тогда заплатите, за все, за все заплатите!..

Эти слова ожгли Рожнова так, что он задохнулся.

— Послушайте, вы! — выдавил в бешенстве он из себя и, вскочив, схватил Борича за руку так, что тот скривился от боли. — Вы тут в моем доме осматриваетесь да оглядываетесь... что, заметно, какое я состояние нажил на сотрудничестве с этими? Да, черт вас подери, я теперь богат — мне жизнь оставили! Вот, живу теперь — и каждый день жду, когда за мной придут. Ничего так житьишко? А вы скажете — поделом, скажете, предателю?! Так вот, я это и без вас знаю. Я сам, сам уже вынес себе приговор!

— Юра, не надо! — пыталась оторвать его от гостя Анна Тимофеевна.

— А вы, — продолжал шептать Рожнов — от ярости у него перехватило горло, вместо слов вырывался свистя-

щий шепот, — вы все мне корыстью тычете... ищите, чего нет. Не найдете! Потому что не за корысть, не за золото-серебро... нет, не понять вам — за идею! — вот зачем трудился и за что теперь расплачиваюсь. Кабы только знал, кабы ведал, чем все кончится... глаза застило... помрачение нашло... все он, он, Язык!

Борич молча вырывался, но Рожнов держал крепко.

— Все он, Язык, — довершил твердым голосом Рожнов и отпустил его — Борич отшатнулся и схватился за большую руку. — Убирайтесь! Спасибо за весточку и — вон отсюда!

Борич с кривой ухмылкой встал.

— Доносить побежите? — спросил он, странно шаркнув ногой.

Рожнов рванулся к нему так, что Анна Тимофеевна снова вскрикнула:

— Юра!

— Да вы ничего не слышали, глухой человек! — проговорил Рожнов, рассматривая его с некоторой даже жалостью. — При чем тут вы? Вас и без меня раздавят... вы ведь еще не поняли, что поздно, все поздно. Убирайтесь отсюда сейчас же!

Борич не оборачиваясь вышел. Рожнов медленно опустился на стул и еще несколько часов пытался отдышаться,пил таблетки, а встревоженная Анна Тимофеевна носилась вокруг.

Это происшествие словно подстегнуло события. На следующий день проснулись власти — Рожнову принесли повестку. Прочитав ее, он потрясенно замолк. Повестка была не в суд и не на допрос — ему приказано было завтра явиться на официальное сожжение «сталых лживых книг, подлезасих изъятию и унисътозению».

— Что же это, Анечка? — слабо спросил Рожнов. — Это средневековье какое-то!

Анна Тимофеевна помолчала, потом подошла и погладила его по голове.

— Ты не виноват, Юра, успокойся.

— А кто еще виноват, кто?!.. Пойти, что ли, Анечка? Ведь зовут.

Анна Тимофеевна, поджав губы, покачала головой.

— Вот и я так думаю, — произнес Рожнов после долгой паузы.

Поглядеть на этот костер сбежался весь город, но ни одного логипеда не было среди зрителей. Огню были преданы две главные столичные библиотеки, и почти двое суток полыхал громадный костер. Над городом стлало книжный пепел, опаленные странички, словно мертвые бабочки, бились в окна. Кварталы ближе к главной площади, на которой происходило аутодафе, занесло дымом, словно война вновь пришла на улицы. Зеваки весело чихали в этом чаду и приговаривали:

— Нисего себе книзки дымчат...

— Пуфкай говят — их ве фитать невовмовно!

— Эх, можно было бы на более полезное дело пустить — на нузники обсественные!

— Ха-ха! Ну, сказал так сказал! Сутник!

Не успел дым рассеяться, а прошедшие дожди — прибить и пригладить огромное пепелище, по домам в центре города пошли специальные команды. Началась великая конфискация старых книг. В большинстве своем владельцы книг безропотно их отдавали. Но были случаи, когда книги пытались скрыть, спрятать, передать другим. И тогда вместе с книгами увозили их владельцев. Новые костры из книг запылали в разных районах столицы.

Явились и к Рожновым. Четверо закопченных людей, не замечая владельцев, заходили по квартире, переключаясь по-хозяйски:

— Глиса, поди сюда — тут селый скаф!

— Витя, сто у тебя?

— Полоська небольшая в спальне, Семен Петловись!

— Ну, таси ее в колидол — там разбелемся.

Юрий Петрович и Анна Тимофеевна безучастно за этим наблюдали. Из их дома исчезали книги — наверное, самое дорогое, что у них еще оставалось. Среди этих книг были редкие, рукописные. Были старопечатные. Были, наконец, летописи рода Рожновых, семейные дневники, альбомы. Все это безобразной грудой валялось сейчас на полу в коридоре. Закопченные люди весело стаскивали туда книги со всей квартиры и походя подмигивали хозяевам.

— Сего заглустили-то? — окликали они их. — Небось не плипасы отбилаем, а вледное балахло. Сами же спасибо скажете!

Рожновы окаменело молчали. «Как бы поступил Андрей? — думал Рожнов все время, пока книги из их большой квартиры бросали в огромные мешки и выносили в подъезд. — Он бы восстал, наверное». Но мысли были вялы и ни к чему не толкали. Как лютому Ваалу, отдавали они Языку книги, словно собственных детей.

— Юра, они нас не оставят, — сказала Анна Тимофеевна тем вечером.

Рожнов и сам это понимал. Одно было только ему неясно: почему их до сих пор не взяли? Ведь на победившем языке они так и отказывались говорить и даже в магазине громко переговаривались на правильном, вызывая шепотки и гневные замечания. Уже за это светило серьезное наказание — ан проходил день за днем, но ничего не происходило. Власти непонятным образом временили, словно не решаясь взяться за них.

Звонок раздался в воскресенье. Им так давно никто не звонил, что Рожновы — они как раз сели ужинать — подскочили и поперхнулись едой.

Звонили из Управы — ее продолжали так называть, хотя самой Управы давно не было. Четкий голос осведомился, Рожнов ли у телефона, назвался работником канцелярии и попросил Рожнова явиться завтра, в пять вечера, на заседание правительства.

— По какому вопросу? — спросил Рожнов, стараясь говорить так же твердо.

— По языковому, — сказал четкий голос и отключился.

— Ну, Аня, — сказал повеселевший Рожнов, поворачиваясь к жене, — это уже что-то. Видать, показательный суд решили устроить.

Анна Тимофеевна бухнулась на стул — отказали ноги.

— Не беспокойся ты, — произнес Рожнов, ласково обнимая ее. — Если бы хотели уничтожить, не стали бы вызывать на заседание правительства. Нет, что-то, видать, у них стряслось.

— Чего им надо-то, Юрочка? — заикаясь, спросила Анна Тимофеевна.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво повторил Рожнов, уходя мыслями в себя.

Он и сам не представлял, зачем его вызывают. Показательные суды устраивали в других местах. Может, побеседовать хотят? Но о чем? Нет, пригласить одного из высших логопедов страны, пускай и бывшего, на заседание правительства была вещь небывалая. Он надеялся только увидеть там Куприянова. Рожнову было что тому сказать.

Назавтра в половине пятого он уже был в Управе. Как хорошо он знал это место, и как оно изменилось за войну! Видимо, снаряды залетали и за эти высокие стены: одно здание, в котором когда-то размещалось управление делами, сильно пострадало и сейчас было почти закрыто лесами. В окнах большинства зданий Управы до сих пор отсутствовали стекла. Внутри Красного дворца — резиденции правительства — было невыносимо грязно и натоптано, вооруженные люди слонялись по коридорам, равнодушно рассматривая драгоценные картины на стенах, стояла махорочная вонь.

Заседание правительства в пять часов не началось. Не началось оно и в шесть. Все это время Рожнов просидел на узком диванчике в приемной перед чьим-то кабинетом.

Кроме него, там никого не было: стол секретарши был пуст. За дверью отчаянно, не смолкая, звонили телефоны. У них были разные голоса: один курлыкал, другой пищал, третий оглушительно звенел, как допотопный будильник. Рожнов чувствовал, как спокойствие покидает его. Какие-то люди в форме заходили в приемную, заглядывали в кабинет и безучастно интересовались у Рожнова:

— Конопелькин тут?

Сначала Рожнов отвечал, что нет Конопелькина. Потом просто пожимал плечами в ответ. Люди, разыскивавшие неведомого Конопелькина, тоже пожимали плечами и уходили.

Только в восьмом часу Рожнова подняли с диванчика. Прибежал запыхавшийся человек и закричал:

— Я вас везде лазыскиваю, а вы вот где! А фто, Конопелькина нет?

Рожнов в ответ пожал плечами.

— Так он же на заседании, — закричал человек, хлопнув себя по лбу. — Совсем я все запамятовал. Ну, пойдемте скорее, вас вдут.

И Рожнов очутился в небольшой комнате, которую почти всю целиком занимал огромный Т-образный стол. За этим столом теснилось друг к другу множество людей, и места им явно не доставало. Это все были члены правительства. Стол был завален грудями бумаги, уставлен графинами с водой и желтыми стаканами. Еще не успев начать разглядывать сидящих, Рожнов узрел Куприянова — тот занимал председательское место.

Рожнов остановился в дверях, и все взгляды обратились к нему. Он ждал, глядя на Куприянова. Тот изменился, обрюзг и стал как-то неприятен. Узнает, не узнает? Куприянов не узнал, вернее, никак не показал, что узнает Рожнова. Он глядел куда-то вниз, на поднесенные бумаги. Рожнова потянули за рукав, показали на стул в углу. Он сел, продолжая смотреть на Куприянова, но тот не желал его замечать. Вместо этого он громко произнес:

— Конопелькин здесь?

По сидящим прошла дрожь, а потом толстый голос сказал:

— Нету его тут. У себя, небось.

— Вызвать, — проронил Куприянов, не поднимая глаз от бумаг. Кто-то вынесся за дверь.

Прошли еще несколько минут, и Куприянов вновь подал голос:

— А Ложнов? Ложнова пдигласили?

— Здесь он, здесь, — раздались голоса, и Рожнов встал. Все взгляды вновь устремились на него. Однако Куприянов упорно продолжал читать бумаги. Повисла пауза, и это дало Рожнову возможность разглядеть, наконец, сидящих за столом. Большинства из них он не знал. Но вот рядом с Куприяновым сидел худой очкастый взьерошенный Клеветов, главный идеолог правительства, тарабар. Здесь же, за столом, громоздился Булыгин, бывший брат Панценбрыхер, огромный мужчина с крохотной лысой головой. Узнал Рожнов и Бухарова, помощника Куприянова, испитого человека, который теперь подходяще назывался Бухаловым.

— Вопдосы к товадищу Ложнову? — обратился к присутствующим Куприянов, впервые поднимая глаза.

Все молчали, видимо, не решаясь ничего сказать. Наконец тот же толстый голос проговорил:

— Да какие могут быть вопдосы. Пусяй лязьяснение даст.

Куприянов на это покивал и произнес, обращаясь прямо к Рожнову:

— У нас декотодые пдоблемы возникли, Юдий Петдович. Вот, дешили к вам как к специалисту обдатиться.

— Слушаю вас, — произнес Рожнов, стараясь не выказать удивления.

— Иван Кидиллович, изложите, — пригласил Куприянов.

— А сего излагать? — произнес тот же толстый голос. Говорившего Рожнов не видел, его закрывали сидящие. —

Полядка нет, товалиси, вот сто я сказу. Язык, мезду просим, на то и язык, стобы его понимать. А тут ни понятия, ни понимания, ни сего длугого, ловно лягухи квакают.

— Излагайте понятнее, Иван Кидиллович, — поправил его Куприянов.

— Так я и излагаю. Вот мы, скажем, посюевствовали нузду, клепкую необходимость дазе, насять издание газет. Пола, думаем, отлазать действительность во всей ее плавде. А то ведь стальные газеты на лзивом языке писали, плислось их заклыть. Ну, наблали стат. И сто? Все по-своему писут и говолят. Нисего не понятно. Один говолит так, длугой — эдак, будто языки им подлезали. Плислось плиостановить лаботу.

Тут Рожнов понял, кто это, — говорившим был Финагин, недавно назначенный министр печати. За свои организаторские способности этот начальник цеха был призван Партией, но речеисправительских курсов по каким-то причинам так и не прошел. Зато он быстро примкнул к тарабарам, которые, по-видимому, тоже подметили его способности и доверили Финагину поднимать журналистику.

— Вевно говоришь, Иван Кививыч, — сказал кто-то с другого конца стола. — Двугую гавету невовмовно фитать — чуф всякая напефятана.

— Посему сюсь? — обиделся Финагин. — Мои лебята холосие, только язык плохо знают. Один говолит так, длугой — эдак, плямо беда.

— Ситуация ясна, Юдий Петдович? — повернулся Куприянов к Рожнову. — С объективной пдоблемой столкнулись товладиши. Тедпим подажение на идеологическом фдонте, а все из-за языка. Слишком он... свободный, что ли. Какие будут пдедложения?

Повисло молчание. Молчал и Рожнов. Он собирался с мыслями. Но едва он это сделал, как открылась дверь, и в комнату с той стороны чуть ли не втокнули толстенького человечка с портфелем. Изо всех сил стараясь быть незаме-

ченным, тот начал красться вдоль стены, глазами выискивая свободный стул, но его настиг голос Куприянова:

— Товарищ Конопелькин! Пдоходите, садитесь. Доклад педедавайте сюда.

— Доквад в настоящее время готовится, — произнес, запинаясь, Конопелькин.

— Кем готовится? До сих под?

Последовал длинный разговор, в котором выяснялись подробности того, почему доклад до сих пор не готов и не может быть заслушан собравшимися ответственными товарищами. О Рожнове забыли, и он снова присел на свой стул. Он чувствовал себя кандидатом. Вот так когда-то ожидали и его. От невеселых мыслей Рожнова оторвал голос Куприянова:

— А тепедь послушаем товарища Ложнова.

Рожнов снова встал. Неизмеримая горечь поднялась в нем. Все обиды сгустились и встали комом в горле. Одно было избавление от них — их высказать. Ему мельком вспомнилось, как он когда-то хотел почувствовать себя громоотводом — голым, гордым и незащищенным. Вот оно, пришло это время.

И Рожнов заговорил:

— Действительно, перед вами, перед новым режимом, возникла серьезная и неотложная проблема — необходимо выпускать газеты, поднимать книгопечатание, повышать уровень культурных мероприятий. Что же вам мешает? Страна оправляется от последствий военных действий, разрушения велики, потери огромны. Это ли вам мешает? Мешает, но не только это. Стронники старого режима всеми силами стараются досадить, навредить народной власти. Это ли вам мешает? Да, но не только. Вам мешает отсутствие языковых норм. Веками наши предки строили государство, основанное на языковых законах. Они знали — государства без языка нет. Но и языком можно управлять, как можно смирить реку, перекрыв ее плотиной и подчинив народно-хозяйственным целям. Нелитератур-

ные и просторечные формы языка могут существовать — и обычно существуют — параллельно с литературной, законодательно установленной нормой. Но не более того. Ни одна цивилизованная страна мира не позволяет просторечию вторгаться в официальную жизнь государства. Что же произошло у нас? И что происходит? У нас все освященные временем языковые нормы объявлены вредными и как таковые упразднены. В результате общество захлестнуто нерегулируемым народным языком, разнузданным просторечием, не желающим подчиняться никаким законам. Орфоэпические нормы попораны, и уже начался процесс размывания норм грамматических и лексических. Мы на грани гибели языка, товарищи. И тут необходимо признать, что это не в последнюю очередь моя вина. Всю свою жизнь я считал, что язык должен развиваться свободно. Что народ сам знает, что делать со своим языком, и стихийно развивает его, просто говоря на нем. Это была ошибочная позиция, и сейчас я глубоко в ней раскаиваюсь.

Рожнов говорил — и видел, как переглядываются члены правительства. На их лицах было неприкрытое удивление. Некоторые даже наклонились вперед и вслушивались в его слова, стараясь уловить смысл. Рожнов знал, в чем дело. Его не понимали. Он говорил на непонятном им языке. Он говорил на правильном языке, носители которого с некоторых пор перевелись. Никто не осмеливался говорить так здесь, в этих стенах. И лишь один человек понимал Рожнова: Булыгин, брат Панцербрехер, тяжело и неотрывно глядел на него, не пропуская ни единого его слова. Казалось, лишь он придавал важность словам Рожнова. Прочие присутствующие шушукались.

— Да, раскаиваюсь, — продолжал Рожнов горячо, чувствуя, что говорит в пустоту, — потому что совершенно непоправимое. Язык и государство разошлись. Теперь они разделены. И произошло это после того, как один Язык убил другой. Вы знаете, о чем я говорю. Вы помогли ему — тому Языку, который вы считаете своим. Он дол-

го этого ждал. Мы, логопеды, сдерживали его. Но произошло предательство. Движимые разными причинами, мы принесли наш Язык в жертву тому! Я — лично я — предал Его. И сейчас на смену ему пришел ваш Язык. Это величайшая трагедия. Вы думаете, что вы власть. Вы считаете, что правите страной, сидя здесь. Но вы ошибаетесь. Не вы правите страной. Не вы — власть. Власть — Он, ваш Язык. Он использовал вас, чтобы воцариться. Вы ему очень нравитесь, ведь вы считаете, что нормы не нужны, они вредны, это старые лживые нормы, мешающие народу наслаждаться свободой. Но вы увидите, что произойдет, когда вы попытаетесь укротить его. Ведь именно это вы сейчас обсуждаете, правда? Да, вам понадобятся нормы. Вы вдруг осознали их необходимость. Вам вдруг понадобились законы, правоприменение, весь тот логопедический вздор, о котором вы забыли и думать. И вам придется выбирать, какое произношение лучше. И вы не сможете сделать этого сразу, потому что на это уходят годы. И тогда вы схлестнетесь — вы все, сидящие здесь, разделитесь на лагеря и станете драться, доказывая, что ваше произношение лучше и что именно вы вправе устанавливать норму. И вы прольете кровь — вы все, сидящие здесь. А он, ваш Язык, будет подстегивать эту рознь, потому что она Ему по нутру, потому что Ему надоели нормы и Он желает порезвиться на воле. А потом вы погибнете, а вашу рознь станут продолжать ваши дети. Вот к чему пришли мы — и в этом есть моя личная вина, моя вина!

Он замолк, разрываемый рыданиями. Настала тишина, нарушаемая шелестом бумаг. Кто-то негромко прочистил горло. Никто не высказывался. Наконец подал голос Куприянов:

— Так, товарищи, у кого какие мнения?

Но тут снова открылась дверь, и в комнату проскочил секретарского вида человек, подбежал к Куприянову, положил ему на край стола объемистую пачку бумаги и выскользнул из комнаты.

— Ага, — протянул Куприянов, просветлев, и обеими руками придвинул к себе пачку. — Вот товадища Конопелькина доклад готов. А говодили, будто тди дня займет. Сколько дней готовился доклад, товадищ Конопелькин?

— Три, — пискнул тот.

— Ага. Гм. Ну, подготовили же, наконец. А говодили — долго. Ну, ходошо. Так, товадищ Ложнов, вы закончили?

Рожнов только кивнул. Говорить он не мог и слышал плохо — в ушах шумело, сердце колотилось, ему казалось, что он вот-вот упадет в обморок.

— Пдекласно, — сказал Куприянов и обратился к присутствующим: — Ну же, товадищи, высказывайтесь.

Из угла донесся толстый голос Финагина:

— А сего высказываться-то — лиснего наговолит товадись. К тому зе непонятно говолит, так говолить сейсяс узе нельзя — обстановоська длугая.

— Есть такое дело, товадищ Финагин, — согласился Куприянов. — Я бы добавил, что никаких дациональных пдедложений товадищ Ложнов не высказал. Так, товадищи?

Его поддержали согласным гудением, кто-то сурово произнес:

— Вевно!

— Какие-нибудь констдуктивные высказывания будут, Юдий Петдович? — снова обратился Куприянов к Рожнову. — Отдельные ваши мысли нашли бы поддежку у товадища Булыгина, он недавно тоже утведждал, что Язык недоволен и желает жедтв. Да, товадищ Булыгин?

У присутствующих тарабаров эти слова вызвали смешки. Булыгин, единственный лингвар, с непроницаемым видом промолчал.

— Я бы желал обратить вдимадие присутствующих да то, — заговорил Клеветов, через стол буравя Рожнова острыми глазами, — что докладчик де совсем сочувствует взтому курсу. Так, у медя имеются материалы, по которым выходит, что товарищ Лождов не откликнулся на приглашение придыть участие в праздике сожжедия старых кдиг.

Ди он, ди кто-либо другой из бывших логопедов, чледов расформировавдого Совета, де явидись да это мероприя- тие. Это даводит да раздые мысли, товарищи. Давайте, пользуясь присутствием товарища Лождова, спросим у дего, почему он де явидся по повестке?

— Это было бессмысленно, — глухо отозвался Рожнов.

— Бессмыследдо! — повторил Клеветов изумленно. — Вы слышали это, товарищи. И после этого мы стадем слу- шать товарища Лождова еще?

— Вы своими руками уничтожили нормы, — прогово- рил Рожнов.

— Что? Какие дормы?

— Вы уничтожили прецеденты применения языковых норм. А литература и есть прецеденты. Вы могли выбирать из них — но теперь вам выбирать не из чего, потому что вы истребили старые книги.

— Уничтожены все библиотеки? — живо поинтересо- вался Куприянов у Клеветова. Тот вместо ответа потупил- ся, что означало — ну, не все, но многие. На это Куприя- нов со значительным лицом кивнул — мол, что сделано, то сделано.

— Есть мдедие, — произнес Клеветов, пошуршав бума- гами, — что с этим дужно всестородде разобраться. У дас под боком действует в полдом составе весь бывший Со- вет логопедов во главе с бывшим главдым логопедом Ылосьдиковым. У медя воздикают серьезные сомдедия, товарищи.

— Да сто лазбиляться, — подал голос Финагин. — Ле- сать надо с ознасенными товалисями по сусеству дела — вот сто.

— Согласед с товарищем Фидагидым, — вставил Кле- ветов.

— Да, Юдий Петдович, — подытожил Куприянов. — Вот как дело поводачивается. Пдямо скажу — новые фак- ты откдываются. Нам известно о ваших заслугах, ваш опыт нам бы пдигодился, но возникают вопдосы. Что скажете?

— Мне сказать нечего, — безучастно ответил Рожнов.

Куприянов покачал головой. Вслед за ним покачали головой и многие из присутствующих. В этой неодобрительной тишине низкий голос Булыгина произнес:

— Я бы все-таки обратил внимание присутствующих на то, что товарищ Рожнов единственный явился сюда по зову. А мы звали и остальных — Ирошникова, например. Юрий Петрович, на мой взгляд, высказал дельные мысли. Мы не должны от них отмахиваться.

— Остальные не пдишли? — живо поинтересовался Куприянов у Клеветова, не глядя на Булыгина. Клеветов вместо ответа потупился, что означало — нет, не пришли. На это Куприянов значительно кивнул — мол, запомним.

— Те не плисли, этот плисел — а толку с этого? — заметил в тишине Финагин. — За всех этот товались и высказался.

Присутствующие согласно зашумели.

— Да, товладици, — подытожил Куприянов веско. — Кажется, все ясно. Что там следующим пунктом в повестке?

— Мне неясно, — ворвался в паузу бас Булыгина. — Я повторяю — Юрий Петрович важные проблемы озвучил. Мне кажется, следует принять какое-то решение.

Присутствующие враждебно зашушукались.

— Какое тут мозет быть лесение? — всплыл голос Финагина. — Влаги клугом, вредители. Надо снасяла с ними лазоблаться.

— Я бы попросил вас, товарищ Булыгин, — произнес Клеветов, злобно сверля того глазками, — все-таки изьясдяться да подятдом языке.

— А я на каком говорю? — насмешливо спросил тот.

— Да адтидароддом! — выкрикнул Клеветов. — На логопедическом! Вы с этим, — махнул он на Рожнова, — да оддом языке говорите.

— Языку неважно... — начал Булыгин, но Клеветов закричал:

— Ой, да хватит, хватит дам этих лидгварских песед!

Булыгин в ответ ощерился — казалось, вот-вот произойдет драка.

— Тихо, товадищи, — произнес веско Куприянов. — Тихо. Давайте, знаете, по существу дела. Юдий Петдович, значит, ваш вопдос мы еще обсудим. Что там следующим пунктом?

— Доквад, — тихонько квакнул откуда-то Конопелькин.

— Ага, — с удовольствием произнес Куприянов, кладя руку на стопку бумаги. — С докладом все ознакомлены? Кто имеет высказаться?

— Мовно мне? — поднялась чья-то рука.

— Говоди, Петд Иваныч.

Рожнов в изумлении опустил на стул. Хотя он и знал заранее, что его никто не услышит, но такого не ожидал. Его не только не услышали, но и провели над ним под шумок конопелькинского доклада показательный суд. Он не сомневался, что приговор ему и его коллегам по Совету будет вынесен в ближайшее же время.

— Знафит, — продолжал невидимый Петр Иваныч, — с докладом я овнакомился внимательно, половение ясно. Фто ни говори, а поголовье скота поднимать надо. Само оно ниоткуда не поднимется. Отдельные меры нувны. Товариф Конопелькин правильные меры предлагает. Знафит...

Рожнов, не веря своим ушам, слушал Петра Иваныча, не пропуская ни единого слова. Но того внезапно прервал Куприянов:

— Погоди-ка, Петд Иваныч, сначала по пдоцедуде. Товадищ Ложнов нам не нужен? Тогда давайте отпустим товадища.

Собрание согласно зашумело.

Рожнов поднялся и оглядел собрание. Он видел множество чужих лиц и несколько знакомых. Сказать им было нечего, он уже все сказал. И он проговорил тихо:

— Прощайте, товарищи!

Ответа он не ждал, но тут Куприянов произнес, и в ответе этом впервые прозвучала человеческая нотка:

— Будь здоров, Юрий Петрович.

Слов этих, произнесенных без обычной куприяновской гундосости, никто не услышал — прочие присутствующие погрузились в жаркое обсуждение доклада Конопелькина.

— Товались Ковопенькин, — втолковывал ему Рожнов, с ужасом слыша свой голос, — я ве ошполяю вазнофть ба-сего доквата. До вы доздны бонядь, фто сейфяз гвадвое — явык. Пойбите, фто ствада де мовет вазвиваться вде явыка. Мы доздны бовотья ва его фястоту.

«Боже, что я говорю! — в ужасе думал он. — Что со мной?»

Перед ним сидел ужасно занятой Конопелькин — он писал свой доклад. Этот доклад уже вырос в колоссальную грудку бумаги, грозившей обрушиться на Конопелькина и погрести того под собой.

«Что он делает? — думал Рожнов. — Его же сейчас ушибет».

Он раскрыл рот, чтобы предупредить Конопелькина, отвлечь его, срочно поведать о необходимости ввести языковой контроль, но из его рта вырвалось бессвязное мычание. Язык не слушался Рожнова. Он пытался выговорить слова, но язык его не слушался.

— Ы! Ы! — в ужасе мычал Рожнов.

Он понял, что его постигла кара. Язык его оставил. В наказание его поразила немота. Кажется, с ним случился удар. От дикого страха Рожнов замычал еще сильнее. Он звал Ирошникова, всегдашние рассудочность, спокойствие того были нужны ему как воздух:

— Хафа! Саза! Бафа! Таса!

Но Ирошников не шел. Его вообще не было. Рожнов понял, что того постигла еще худшая кара — смерть. Ирошников умер, умолкла его речь, погиб его мир, умер-

ли пчелы, погибли муравьи — Ирошникова, Саши Ирошникова не стало! И Рожнов завыл в бессильной безъязыкой тоске:

— А-а! А-а! А-а!

— Юра! — донесся до него чей-то знакомый голос. — Юра!

Его трясла за плечо Анна Тимофеевна. Измученный, исковерканный безмерным страхом, Рожнов вырвался из сна и пришел в себя.

— Юра! — трясла его Анна Тимофеевна за плечо. — Ты кричишь. Сон плохой увидел?

— Аня, — с трудом выговорил Рожнов — язык до сих пор его не слушался, — мне показалось, что меня хватил удар и я потерял речь. Что это мне в наказание, Аня!

— Юра, — сказала она заботливо, — тебе просто приснился плохой сон. Перевернись на бочок.

И она перевернула его на бок, как маленького, а сама потом до самого рассвета не спала, вспоминая его рассказ о заседании правительства и терзаясь тревогами за их будущность.

Наставал новый день, все события которого можно было бы легко предсказать.

Обстоятельно, аккуратно, неспешно собирает Анна Тимофеевна вещи себе и мужу в дорогу. Она уже не плачет. Впереди — одна неясность, так чего без толку надрываться? Лучше сосредоточиться, чтобы ничего не забыть.

На следующий день после памятного заседания правительства к ним пришли вооруженные люди и предъявили предписание — в двадцать четыре часа покинуть пределы страны. Такие же предписания получили остальные члены Совета логопедов, в том числе Ирошников, а также еще несколько десятков бывших высокопоставленных логопедов, речеисправителей, университетских профессоров. Их ждал поезд в Европу: специальный охраняемый состав должен будет вывезти их из страны. Им было раз-

решено взять с собой только самое необходимое — по тридцать пять килограммов на человека.

Анна Тимофеевна складывает вещи в большие чемоданы. До отбытия на вокзал считанные часы, но она не мельтешит и не суетится. Сейчас она думает и действует за двоих. Юрий Петрович неподвижно лежит на диване в гостиной. Думать и действовать он не может: им овладел приступ апатии.

Вся его жизнь проносится перед ним. Он уже не так остро чувствует свою вину. Все-таки ему удалось высказаться, пускай его и не поняли. Ведь его услышал главный человек в стране, услышал один из министров, хотя в том, что им недолго удерживаться на своих должностях, Рожнов не сомневается.

И еще кое-кто услышал его. Рожнов убежден в том, что его слышал Язык. Чем еще объяснить те жуткие сны, которые снятся ему каждую ночь, — вот и сегодня он тонул в зыбких барханах мертвых, сухих слов, они насыпались ему в рот, он не мог говорить. В черных испепеленных полях из сожженных книг он брел, тщетно пытаясь найти хоть одну целую страницу. И наконец сам Язык явился ему — чудовище без облика, удушливое облако вязких смыслов, гнойный вихрь разложившихся слов. Но наяву Рожнов не боится Его, особенно после того, как узнал о предстоящей высылке на Запад. «Пусть пугает», — думает Юрий Петрович с удовлетворением. И только неопределенность терзает его. Что ждет их за границей? Как примут их недавние коллеги, бедующие там?

Впрочем, и это мало волнует его. Будущее все покажет. Просто навалилась апатия. Он лежит на диване и не может шевельнуться. Вечером поезд. Он уже дожидается их. «Невероятно, — думает вяло Рожнов. — Где-то стоит поезд, который ждет, чтобы увезти нас отсюда навсегда, и больше мы сюда не вернемся».

У дверей дежурят трое вооруженных людей. В семь вечера им предписано войти в дом и забрать супругов

Рожновых в чем есть, пускай даже не одетых. Вооруженные люди негромко переговариваются и ждут.

В пять Анна Тимофеевна собирает поужинать. Это их последний ужин дома. Он такой уютный, их дом. Сколько хорошего здесь произошло. Ей хочется всплакнуть, но она не разрешает себе. Она готовит оладьи. Знаменитые оладьи Анны Тимофеевны получаются, как в старые времена, пышными и вкусными. Но трапеза проходит в молчании. Даже Ромуальд молчит. Рожнов ест без аппетита: все мысли его о предстоящей поездке, о том, куда их везут, и что там с ними будет, и как их примут, и где они будут жить, и чем он будет заниматься, и встретится ли с сыном. Он не гонит этих мыслей — на это у него нет сил. Анна Тимофеевна хотела пригласить к столу и конвоиров, но потом раздумала — ничего, обойдутся.

Ровно в семь они выходят из квартиры, тщательно запирают дверь, отдают ключи конвоирам и садятся в машину. Утром повалил снег, и к вечеру снегопад только усилился. Ранняя, суровая зима обещает быть в этом году. Рожнов несет оба чемодана. Они тяжелые, но он не чувствует их веса, не замечает снега, покрывшего за ночь все вокруг. Рожнов настолько поглощен своими думами, что даже не оглядывается, чтобы в последний раз взглянуть на дом. Анна Тимофеевна несет накрытую тканью клетку с Ромуальдом. Временами из-под ткани раздается его веселый крик:

— Дуррраки! Дуррраки!

Конвоиры косятся — они принимают это на свой счет.

Рожнова и Анну Тимофеевну сажают на заднее сиденье, сюда же втискивается один из конвоиров. Другой садится спереди, рядом с водителем. Дорога занимает несколько минут, вокзал недалеко. В зале ожидания ни души: посторонних попросили очистить помещение перед отправкой поезда с врагами языка. Рожновы в сопровождении конвоиров пересекают пустой зал, выходят на площадь перед перронами и по хрустящему снегу направ-

ляются к дальней платформе, где светятся окна ожидающего их поезда. Там и сям на площади виднеются фигуры офицеров и неизбежных людей в штатском, поставленных наблюдать за отправкой состава. В темноте ярко, по-рождественски празднично горят неоновые надписи: «Биветные кашшы», «Лестолан», «Гаветы и вулналы».

И тут Рожнов застывает на месте. Что за наваждение! Краем глаза он замечает, что в ряду других световых вывесок плавают буквы, которых не должно, не может здесь быть. Среди жалких изуродованных слов сияет слово — нетронутое, настоящее, всесильное слово из старых книг, и грозный смысл исходит от него.

Конвоир легонько толкает Рожнова в спину, и тот приходит в себя.

— Сего загляделся? — ухмыляется конвоир. — Давай, давай, сагай. А то тут всела один тозе на эту вывеску загляделся — да и помел.

— Умер? Отчего?

— А кто его знает. Будто подстлелили его.

Рожнов оглядывается на слово, но морок уже рассеялся — обычная покалеченная вывеска слабо подмигивает ему.

— Из-за гланицы велнулся, только из поезда высел — слеп! — и лезит. Смехота! — веселится конвоир. — Совсем они там за гланицей-то лазмякли, нольмальных слов видеть не могут. Усителиска какой-то...

— Не учитель, — неожиданно для себя перебивает его Рожнов. — Логопед. Истинный логопед.

Страх и отчаяние охватывают его. Рожнов знает, что рухнула последняя преграда на Его пути. Язык отныне свободен, и свобода Его страшна. Истинного логопеда, логопеда призванного, больше нет, он убит, физически уничтожен. И вина за эту гибель лежит на нем, Рожнове, логопедом названном. Без него, без преступного его потворства, чудищу не удалось бы вырваться на волю, не удалось бы

затоптать, растерзать того единственного, кто мог бы еще Его остановить, а значит остановить и падение страны, родины, всего, от чего уезжает теперь Рожнов. Хотя уезжает он только от своих воспоминаний, ведь от родины уже ничего не осталось.

Юрия Петровича начинает бить дрожь, чемоданы внезапно становятся тяжелыми, будто в них не обычный скарб, а старые книги в толстых кожаных переплетах. На миг Рожнов представляет себе, что вывозит из страны драгоценные страницы, в которых таятся и поджидают читателя старые, правильные слова, но тотчас же приходит в себя. Неправда, свои книги он лично отдал в руки губителям. Нет, не книгами тяжелы чемоданы — их переполняет его вина.

Рожновых проводят в отдельное купе, приносят горячего сладкого чая в высоких подстаканниках. Рожнов молчит. Анна Тимофеевна с тревогой глядит на него.

Ровно в восемь двадцать вдалеке раздается свисток. Проходит несколько секунд, и поезд тяжело трогается.

— Ну вот, поехали, — говорит Анна Тимофеевна с успокаивающей улыбкой. — Скоро Андрея увидим.

Юрий Петрович не отвечает. До самого конца путешествия он не проронит ни слова.

Позади них перрон сразу пустеет — офицеры и люди в штатском неспешно расходятся.

И только после этого на краю безлюдной платформы шевелится громадная рогатая тень. Медленно, точно потягиваясь, встает она, глядя вослед уходящему поезду, а потом, когда огни его скрываются из виду, удовлетворенно поднимается вверх и растворяется над городом.

Валерий Вотрин

Логопед

Роман

Дизайнер *Т. Ларина*
Редактор *М. Алхазова*
Корректор *М. Смирнова*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, а/я 55
Тел./факс: (495)229-91-03
е-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84×108¹/₃₂
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 7,75. Тираж 1000. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Типография “Новости”»
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2012 г.

«Художественная серия»

Андрей Левкин

ВЕНА, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА



Новая книга Андрея Левкина, автора «Междоцарствия», «Цыганского романа», «Черного воздуха», «Мозгвы», «Счастьеловки», «Марпла». Автор снова создает частный жанр, для использования в единственном случае: это книга о Вене и ее можно даже использовать как путеводитель — субъективный, зато не по туристическим районам. Конечно, Вену составляют и те, кто создал эту великую городскую культуру, — так герой попадает в приключение. Ощувив, что начал взаимодействовать с городом и его людьми, он пытается понять, как и почему это происходит. Он оказывается в игре — будто в него входит некая операционная система, постепенно превращая во что-то новое. Wien OS заставляет его переходить с уровня на уровень, требуя пройти игру полностью, а вот что случится тогда — предугадать нельзя.

Книги и журналы «Нового литературного обозрения»

можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, (495) 959-20-94
- «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры «Гараж»), (495) 645-05-21
- Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
- «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01, (495) 780-33-70
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «Проект ОГИ» — Потаповский пер., 8/12, стр. 2, (495) 627-56-09
- «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
- «У Кентавра» — ул. Чайнова, д.15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического Музея), (495) 628-64-42, 628-62-48
- «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7, (495) 628-67-38
- «Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
- Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
 - Киоск № 1 в здании Института истории РАН — ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
 - «Книжная лавка историка» в РГАСПИ — Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
 - «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН — Нахимовский пр., 51/21, (499) (495) 120-30-81
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
- Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского музея современного искусства)

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 275-05-21
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворик у Римско-католического собора Святой Екатерины), (921) 655-64-04
- «Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре современной литературы и искусства), (812) 328-67-08
- «Книги Подарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
- «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул., 20; Московский пр., 165, (812) 310-44-87
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
- «Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской, пр. Обуховской обороны, 105
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
- Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71

в НОВОСИБИРСКЕ:

- Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
- Магазин «ВООК-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24;
— Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- Книжная лавка гуманитарной литературы — ул.Свердлова, 9,
(4852) 72-57-96

в МИНСКЕ:

- ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
- ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21

в СТОКГОЛЬМЕ:

- Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32,
Stockholm, 08-651-1147

в ХЕЛЬСИНКИ:

- «Ruslania Books Oy» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland,
+358 9 272-70-70

в КИЕВЕ:

- ООО «АВР» — +38 (044) 273-64-07
- Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед,
+38 (068) 358-00-84
- Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (<http://lavkababuin.com/>) —
ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43;
+38 (050) 444-84-02
- Интернет-магазин «Librabook» (<http://www.librabook.com.ua/>) (044) 383-20-95;
(093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин www.nlobooks.ru

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства, которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

**Специальные сервисы
для покупателей интернет-магазина:**

Раздел «Раритеты»

Возможность оформить заказ на редкие книги нашего издательства, тираж которых почти распродан.

Раздел «Print on demand»

Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно стали библиографической редкостью.

Мы специально издадим эти книги для Вас по уникальной технологии «Print on Demand», которая позволяет напечатать любую книгу тиражом всего в 1 экземпляр.

Раздел «Специальные предложения»

Возможность купить отдельные книги издательства со значительными скидками

Валерий Вотрин

Книги Валерия Вотрина – исключительный поворот в нынешней литературной ситуации. Он предлагает свой универсум взамен... коммерческих симулякров и эмпирического (реактивного) «настоящего». Символ, аллегория, притча – на некоторое время оказавшиеся на краю русской словесности интеллектуальные фигуры – снова работают и удивляют в его прозе. Вотрин смог придать этим громоздким, «не помещающимся в лифт» приемам легкость смысловых перемещений, которые выводят из травматизма двух основных событий: осознания себя перед настезь распахнутым миром и мании преследования со стороны собственного недавнего прошлого.

Алексей Парщиков

Широк стилистический диапазон прозы Вотрина: если это абсурд, то от тоталитарной метафизики Кафки до бурлескного изящества Виана, если стилизация под советский быт, то и она простирается от страстной зачарованности «чудиков» Шукшина до коммунальной мистики персонажей Михаила Булгакова... Все это приправлено сюжетами в спектре опять же максимально широком, буквально от Фомы Аквинского до Сигизмунда Кржижановского, но при этом не оставляет ощущения постмодернистской стилистической шершавости... Стилистическим идеалом его сочинений, кажется, является почти беллетристическая легкость чтения.

Александр Чанцев

ISBN 978-5-444-80028-7



9 785444 800287